

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Обертон
Виктор Петрович Астафьев

Содержание сборника составили повести «Обертон», «Так хочется жить» и «Зрячий посох» — произведения, написанные в начале девяностых годов. Повести настоящего сборника — новое слово в творчестве писателя и в «военной прозе» последних лет.

Герои повестей Виктора Астафьева «Обертон», «Так хочется жить», подобно автору, ушли на фронт мальчишками и вынесли весь ужас войны.

Виктор Петрович Астафьев

Обертон

Валентине Михайловне Ярошевской

Зовут меня Сергей Иннокентьевич Слесарев, хотя я на самом-то деле Слюсарев, но, прокатывая человека по калибрам армейской жизни, дорогая наша действительность постепенно снимала или целесообразно стесывала топориком с человека все умственные и прочие излишества, чтобы он не портил строя, не изгибал ранжира, ничем не выделялся из людского стада. Малограмотные хлопцы с Житомирщины или с Волыни, которым не дано было выбиться в полководцы или хотя бы в старшины, приспособили себя в писари и тут уж царили, включая на всю мощь те полторы извилины, которыми наделил их Создатель.

Поначалу я сердился, возражал, сопротивлялся, если искажали мою фамилию, но когда получил красноармейскую книжку перед отправкой на сталинградскую мясорубку, махнул рукой: не все ли равно, убьют меня Слюсаревым или Слесаревым – какое это будет иметь значение перед историей? Мать с отцом живут по адресу, заключенному в пластмассовый патрончик, и узнают, а не узнают, так почувствуют, что это их сын, Сергей Иннокентьевич, сложил голову на Волге или где-то еще дальше.

Так же вот, как я, безвольно отдаваясь казенному упрощению, военному бюрократизму, наш народ постепенно исказился не только в личном документе, но и характером, и обликом своим. Нынче почти над каждым русским дитем висят явственные признаки вырождения. А началось-то все с буковки, с какого-нибудь родового знака, с нежелания сопротивляться повсеместному произволу.

Работая после войны слесарем вагонного депо, я по ротозейству, свойственному людям задумчивым, не успел назвать другого кандидата, и меня избрали в профсоюзный рабочий комитет. Знакомясь с бумагами, я с удивлением узнал, что в нашей бесправной стране еще существуют остатки дотлевающей демократии. Администрация предприятия обязана каждый год заключать с рабочими коллективный договор. В этом важнейшем для жизни трудового человека документе я обнаружил, что рабочий люд сам постепенно уступил всякие свои права родному государству, сделался бесправным большей частью по своей лени и бездумию. Из колдоговора каждый год исчезали пункт за пунктом, параграф за параграфом. Одним из первых исчез из договора пункт о праве на забастовку, продержавшийся на иных крупных предприятиях аж до середины тридцатых годов.

К той поре, когда мне довелось отбывать профсоюзную нагрузку, никто уже колдоговора, вывешенного в профсоюзном комитете, в партбюро и кое-где в цехах – на досках объявлений, – не читал. Собрания по заключению колдоговора проводились раз в году, но и тогда, чтобы собрать кворум, начальники цехов закрывали душевые вместе с чистой одеждой, никого после смены домой не отпускали до тех пор, пока не будет утвержден общим собранием важнейший трудовой документ. На вопрос, как голосовать – за каждую статью и параграф отдельно или за весь договор сразу, – следовал неизменный ответ: «Сразу!»

Ну, я забежал вперед. Рассказ мой или личное воспоминание не об этом, не о правах и бедах трудящихся, а о любви, о несостоявшейся любви, объехавшей, облетевшей или прошагавшей мимо меня. Ах, как я завидую тем моим братьям фронтовикам, которые так жадно вглядываются в военное прошлое, и там, среди дыма и пороха, среди крови и грязи, замерцает издали им тихой, полупогасшей звездочкой то, чего нет дороже, то, что зовется совершенно справедливо наградой судьбы.

В сталинградской мясорубке меня не дорубило, лишь покалечило. Долго я путешествовал по госпиталям, долго и много шарилась в моей трубе усталые хирурги, чего-то отрезали, удаляли, пока наконец, облегченного, не возвратили в строй.

Осенью сорок четвертого года на одной из многочисленных высот в Карпатах я был тяжело ранен осколком авиационной бомбы – раскрошило в бедре мою кость, в боку выбило ребро, камнями избородило лицо. Я потерял много крови, пока на перекладных и попутных транспортах доставили меня в медпункт, затем, уже в санпоезде, – в стационарный госпиталь. «Жизненно важные» центры, как писалось в истории болезни и говорилось врачами, оказались не задеты, мясо же на молодом теле нарастет. Однако ж и молодое, беззаботное тело способно гнить при тех лекарствах и снадобьях, которые имелись в госпитале, да и во всей тогдашней медицине, обслуживающей рядовой состав: гипс покрепче, марганцовка и мазь, похожая на солидол, стиранные бинты, – лечись, героический боец, если хочешь жить.

А что делать? И лечились, и выздоравливали, пусть и не вдруг.

Весной сорок пятого года я был комиссован в нестроевики и направлен на военно-почтовый пункт в местечко Ольвия, что на Житомирщине, а может, и на Подолии, – я сейчас уже не помню, – где женское поголовье почтовиков, назначенное к демобилизации, жаждало замены, чтобы поскорее вернуться домой.

Ольвия – благословенный райгородок, стоящий чуть поодаль от железной дороги и от всяких других важных и беспокойных магистралей. Вкальвающих бок о бок почту и цензуру отцы тыловой части наострились устраивать добротню. Ольвия, совсем почти не тронутая войною, была тем райским местечком, где можно было отведаться, стрельбы не бояться, офицерам заводить романы, иногда заканчивающиеся женитьбой, и солдатам – правда, реже – случалось встретиться с любовью, этим вечно обновляющим даром Господним.

Увы, увы, дар великий, дар бесценный умудрился я профукать – один раз по бесшабашности молодой, другой раз – уж точно – по вине нашей беспощадной, извилистой, лучше сказать старомодно, по причине изменчивой, бесчувственной судьбы. Мало это, очень мало для человеческой жизни – всего два сближения со счастьем, и оттого еще жальче прошлого и хочется, опять же как в старину, воскликнуть: «Ах, если б можно было повернуть прошлое вспять!..»

Почта текла еще потоком, однако напор белых волн ослабевал, успокаивалось взбаламученное море, оседал на землю дым войны, умолкало слово, исторженное тоскующим человеческим сердцем. Но в бывшей начальной школе, где располагался почтовый сортировочный пункт, оставались еще завалы пыльных мешков с письмами, штабелями сложенных в экспедиционных кладовых вдоль стен и меж столов сортировки.

Не передохнув, не осмотревшись, нестроевики попали в обучение, включились в работу. Ничего сложного в той работе не было: в секции, в таком квадратном купе, сделанном из грубо сколоченных ящиков, по алфавиту были встроены соты и в те соты надо было забрасывать вынутые из мешков письма. Казалось бы, какая хитрость: помнишь алфавит – и шуруй от ящичка «А» к ящичку «Б» и так далее до ящичка «Я». Мечи письма попроворней, не путай буквы, не кидай конверты мимо сотов.

На перекладке купейного косяка, в которое меня определили, виднелась бумажка, на ней написано: «№ 6 – Некрасова Софья Игнатьевна. Прожогина Тамара Алексеевна». Для удобства экспедиторов писана, точнее, для раздатчиков писем на сортировку. В той секции, где мне предстояло работать, куда определил меня начальник сортировочного цеха лейтенант Кукин Виталий Фомич, прыгали, точнее, по

воздуху летали и неуловимо бросали письма две девушки, сделавшие вид, что никого они не ждут, начальника с «новеньким мальчиком» не слышат и так сосредоточены на работе, что все их помыслы поглощены трудом, и только трудом, нужным Родине.

– Софья! Тамара! Вот вам ученик, второго не досталось. – Лейтенант постоял, подумал, глядя на вдохновенную работу сортировщиц, шмыгнул остреньким носом, приложил ладонь ко вбок зачесанной, блеклой, вроде как мокрой челочке и добавил, удаляясь: – Пришлют еще бойцов, добавлю и второго...

Я стоял у входа в секцию, по которой, клубя пыль, метались девушки. Хотя и горела лампочка, спущенная с потолка на длинном шнуре в ящик почтового купе, я не вдруг различил, что одна девушка – блондинка, вторая же – черная, будто муха, и летает по тесному пространству тоже как муха, даже почудилось, что она жужжит. Девушки дали вдосталь полюбоваться вдохновенным их трудом. Муха фукнула носом или ртом, развеяв перед собою пыль, выдвинула из-под стеллажа вделанную в него толстую доску и села на нее. Следом то же самое проделала и напарница Мухи. Обе они были в застиранных сатиновых фартуках, расширенных до размеров халата мешковинами, пришитыми по бокам. У обеих работниц волосы подобраны под платочки. Странная самодельная спецовка делала их похожими на работяг с какого-нибудь вредного завода. У Мухи волосья не держались взперти, лохмы или кудри торчали отовсюду. У ее напарницы волосы закатаны в валик над шеей и стянуты за ушами. Лица девушек угрюмы, в подглазьях тени. Пыль! – догадался я.

– Ну, здравствуй, работник! Проходи, хозяином будешь, – насмешливо сказала Тамара-Муха и подала мне руку. – Давай знакомиться. Меня зовут Тамарой. – Собралась представить подругу, но та остановила ее взглядом, поднялась с седухи-доски и тоже подала мне руку:

– Соня.

Я поискал глазами, где бы присесть. Тамара взлетела со своего сиденья, приткнулась задом на кромку низкого стеллажа, подставленного под ящички с сотами.

– Садись! – похлопала она по столешнице. – В ногах правды нет...

– А в чем она есть? – попытался я завязать разговор.

– В чем?! – переспросила Тамара. – А вот поработаешь в этом месте, покрутила она головой по купе, в котором медленно оседала пыль и становилось светлее, – узнаешь. А сейчас слушай и запоминай...

Тамара начала посвящать меня в премудрости сортировочной работы. Соня сходила за ведром, принялась зачерпывать ладонькой воду, разбрызгивать по полу. Пол, покрытый слоем пыли и мелкими-мелкими крошками бумаги, воду не принимал – она скатывалась в капли, в комочки, в пластишки. Соня полосами размазывала серую смесь, выметала в коридор валик из пыли и бумажного мелкого хлама.

В этот день Соня и Тамара пощадили меня, не загрузили работой. Поскольку все почти ученики после совместного труда двинулись провожать своих наставниц – а жили они в снятых для них хатах, – я тоже увязался за Соней и Тамарой и дорогой скупко поведал им о себе. Узнав о характере моего ранения, девушки в голос заявили, что я хоть и хороший парень, но надо мне подыскивать другую работу: эту мне, раненному в ногу, не выдержать.

Меня и в самом деле хватило на неделю. Я до того наскакался по купе, что раненая нога начала опухать, на лбу – от боли – горохом прорастали и катились за воротник крупные капли, а там и температура поднялась. Я занедужил. Девушки делали работу за троих, если сказать поточнее – делала ее Тамара. От нее, от Тамары, я узнал, что у Сони начался туберкулезный процесс, который она всеми силами скрывает, чтобы без осложнений демобилизоваться и уехать домой, где ждала ее мама и должен был с фронта приехать жених.

Чтобы не быть совсем уж тунеядцем, я вызвался помогать хотя бы экспедиторам. Девушки, обрадовавшись, затащили в свой закуток экспедиторшу Любу, которая имела звание старшего сержанта, отвозила отсортированную почту в цензуру, иногда ездила на станцию за мешками с почтой, по-нынешнему сказать – была «челноком». Девки-подружки хотели, чтобы я попал на «чистую» работу и заменил Любу в переправке, писем из почты в цензуру, откуда, как я скоро уяснил. Люба не

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

торопилась обратно, так как в строгой цензуре ее, как и на почте, тоже обожали. Слух шел: один цензурный начальник в чине майора, потерявши голову, предлагал Любе сбежать куда-нибудь, но Люба будто бы заявила, что не оставит своих девочек и ее не только трусливый тыловик-майор, но даже пехотный генерал никуда не сманит.

Должность у Любы была не пыльная, почти вольная, и ей навешали общественных нагрузок до завязки: была она секретарем комсомольской организации, общественным информатором, ведала библиотекой и еще чем-то. Однако все эти нагрузки Любу нисколько не угнетали и на здоровье ее не влияли.

Поскольку Любе препоручили меня, то и нагрузки ее как бы сами собой переместились на меня, лишь комсомольское дело отпадало: я как-то умудрился не вступить в комсомол, да и информатор из меня тоже не получился – редко видел я газеты, радио почти не слушал, но библиотеку принимать отправился охотно.

Библиотека размещалась в пристройке к школе, имела отдельное крыльцо и вход с торца школы. Этим входом пользовалась и экспедитор женяра Белоусова, боковушка которой помещалась в бывшей школьной кладовке. Люба делала сообщения насчет текущего момента, взобравшись на длинный, вроде бы тоже нестройной стол первичной сортировки; обшарпанный по углам, безропотно принимал он всю войну на спину свою тонны писем. С этого стола, распиная на нем пачки писем, Люба рассказывала военные и всякие новости, поскольку сообщалась с миром и людьми шире, чем запечатанные в сортировочных купе девчонки.

В пыльном и мрачном помещении сортировки я не разглядел Любу, думал, стану ездить на машине в цензуру, тогда и подивлюсь на нее. ан выпало мне ездить в кузове, Любе – в кабине. Что тут узрешь? Лишь принимая библиотеку, сидя рядом иль за столом, перелистывая книги, проявил я некоторую решительность, пристальней разглядел свою начальницу.

Крупная, будто рюмка всклень, до краев, стало быть, налитая деваха носила себя по земле бережно. Обутая в хромовые сапоги, плотно облегающие икры, обтянутые тонкими чулками, с фигурой как бы обвалившейся под грудь, которую достойно было назвать грудью бойца, до того ли она гордо себя возносила, что комсомольский значок, бабочкой лепившийся к клапану кармана военной гимнастерки, торчал лишь древком знамени, и, для того чтоб прочесть буквы ВЛКСМ, следовало взобраться если не на дерево, то хотя бы на скамейку. Ко всему этому назревшему до последней спелости телу была приставлена пышная головка с неожиданно бледной кожей и оттого кажущейся беззащитной шеей. На голове Любы женским приспособлением, скорее всего обыкновенными бумажками, смоченными пивом, иль накаленным над пламенем гвоздем, взбодрены были над ушами и надо лбом небрежные локоны иль даже кудри. Волосы темно-орехового цвета, и без того пышные, как бы сами собой радостно растущие, густо восходили наверх, вроде даже и подпушек иль кедровая прохладная тень на голове угадывалась. Но все эти достоинства Любы не главные, главное-то и описать невозможно, большая решимость для этого требуется. Даже глаза Любы, серые глаза с четко очерченными зрачками, как бы чуть сонные от переутомленности, и курносый нос, и щеки со слегка выступающими скулами, овечьи не румянцем, а яблочной алой мглой, и подбородочек, будто доньшко новенькой детской игрушки, – все-все эти детали лица, сами по себе – загляденье, являлись все же второстепенными по сравнению с несравненными губами Любы. Яблочко или две спелые вишни, зажатые во рту, персик пушистый, ярчайший заморский фрукт – все-все слабо, все блекло, все ничтожно в сравнении с теми губами. Признаться, не единожды утрачивал я присутствие духа в приближенном разглядывании Любы, и сердце мое, стронувшееся с места и откатившееся в какой-то совершенно пустой угол, не смело оттуда возвращаться, потому как неодолимо влекло меня впиться в эти перенапряженные от яркого пламени губы, раскусить их, ожечься.

«Ах ты, Господи, Боже мой! – думал я в смятении, боясь долго глядеть на Любу. – Это сколько же мужиков она уже свалила и свалит еще, искрошит в капусту и схрумкает!..»

С удивлением и с обвинением человечества за слепоту его узнал я от наставницы моей Тамары, что в жизни Любы, не считая школьных, пионерских, увлечений, случился лишь один роман – с непосредственным начальником, Кукиным Виталием Фомичом, да и тот роковой: во время передислокации почтовой части, в запущенной хате, у какой-то знахарки с березанских болот, за банку тушенки Любе сделали

аборт.

С тех пор не только Кукина, но и всяких прочих мужиков Люба на выстрел к себе не подпускает.

Муха-цокотуха, выболтав мне много девичьих историй, заодно поведала и свою: попутал ее моряк-злодей... а она – архангельская, на море и моряках помешанная. На 1-м Украинском фронте моряк – явление редкое, увидела парня в матроске, в бескозырке, втюрилась в него и с ходу отдалась, без последствий, правда.

– Да я-то что? Вон Соня у нас...

А Соня все чаще оставалась дома или, посортировав почту полдня, уходила с работы. Тамара делала работу и за нее, летала по сортировке, что-то напевая, и чудилось, на просторе сортировочной клетки ей одной-то еще спорее работается. Клубилась пыль вокруг этого мохнатенького, все время жужжащего какой-нибудь мотив, до последней худобы износившегося существа.

Зла не ведающий человек, скорый на любое дело, на язык и мысль, Тамара любила стихи, особенно Есенина и Кольцова, а Соня – прозу и вообще литературу серьезную. В армию Соню взяли из университета. Среди военных подруг в сортировке Соня была, пожалуй что, самой образованной. Не глядя на болезнь, она потихоньку готовилась по присланной ей программе – продолжать учебу в университете.

Тамара порхала по клетке, а я в свободное время читал ей по книжке Никитина «Звезды меркнут и гаснут»; «На заре туманной юности» – Кольцова; «Отговорила роща золотая березовым, веселым языком» – Есенина.

– Серез, а наша-то роща уж совсем отговорила или как? – всхлипывала порой Тамара.

– Да что ты? – бодрился я сам и бодрил Тамару. – У нас еще все впереди! У нас еще ого-го! И найдешь ты своего моряка иль другого из моря вытащишь...

– Может, из канавы?

– Ну и что! – дурачился я. – Отмоешь, отскоблишь, ты у нас вон какой трудолюбивый человек!

– Ага, ага, вон какой, а сам на Соню да на Любу только и пялишься, а я мимо тебя, мимо ребят...

– Так и я мимо... Соня – не по нашей ноге лапоть. Люба – тоже. Поговорку помнишь: «Гни березу по себе»?

– Помню. Пошли на ставок.

И мы шли на ставок. На кисло-зеленой воде ставка густо напела куга, осока и стрелолист, объеденные скотом до корней, – коровы забредали по пузо в воду и вырывали водоросли, сонно жевали их, выдувая ноздрями пузыри, обхлестывая себя грязными хвостами.

Тамара, разгребши ряску и гниющие водоросли, стирала с мылом и полоскала халаты, свой и Сонин, затем, скинув с себя верхнее, оставшись в бюстгальтере и трусах – если это изделие, сработанное из байки и мешковины, можно назвать трусами, – стояла какое-то время, схватившись за плечи, и, вдруг взвизгнув, бежала в мутную, ряской не затянутую глуть, с маху падала на воду. Черным утенком, быстро, легко, не поднимая брызг, плыла она, рассекая кашу водяной чумы, свисающей с высунувшихся, нарастивших островок подле себя обгорелых коряжин и обглоданных комков водорослей, пытающихся расти по другому разу.

– Бр-р-р-р! – стоя на мели в воде, обирая с себя ряску, отфыркивалась Тамара и принималась водить по неровному костлявому телу обмылком, ругательски ругала при этом пруд, Украину, нахваливала архангельскую местность.

– Не гляди! – командовала она, направляясь к огрызенным кустам, чтоб развесить на них мокрую спецовку и белье.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

«Было бы на что!» – фыркал я про себя. Прикрывшись понизу казенным полотенчиком с печатями, прилепнув ладонями грудишки, наставница моя грелась на незнойном уже солнышке, устало подремывая.

Когда солнце опускалось за дальние холмы, Тамара, вздрагивая, натягивала на себя волглое белье, поверху набрасывая шинеленку, совала под мышку скомканные халаты, и мы медленно поднимались по выпеченному за лето до трещин косогорчику в улицу, к хате, в которой Тамара и Соня жили. Наставница моя, шутя иль всерьез – не поймешь, бросала, что я, как и все подбитые доходяги, с каждым днем разевающие все ширше рот на Любу, на других девушек, в том числе на заботницу свою, смотрю ладно если как на сестру, но – что как на колхозного заезженного одра.

Я вяло отругивался, сестер у меня никогда не было, я всегда об этом сожалел, даже вроде тосковал о сестре. В благодарность за утешение Тамара обещала пристроить меня к постоянной, не пыльной работе, себе же попросит помощника не столь ущербного.

И пристроила. И себя, и меня. Тихий, вежливый парень из братской в ту пору Молдавии угодил к Тамаре в наместники, и она уж его не выпустила из-под своей власти, соединилась с ним вплотную – после демобилизации в качестве жены уехала с ним в село под Бендеры, где быстренько родила двух смугленьких детей. Узнал я об этом уже дома, из письма ко мне.

Вместе с Мишей к Соне и Тамаре сунули еще одного бойца – Коляшу Хахалина. У него не разгибалась нога в колене, и он выдюжил на сортировке меньше, чем я, – всего три или четыре дня.

В коридоре, на приемке и разборке, работала славная девушка Стеша. Еще дальше, в конце коридора, была отгорожена кладовка, и там, в клетке без окон, без дверей, меж пыльных мешков с письмами, восседала Женяра Белоусова, имевшая звание сержанта и громко именовавшаяся экспедитором. Вот к ней скоро и был сослан Коляша Хахалин, парень хоть и шибко хромой, зато неунынный. В полутьме и уединении Женяра с Коляшей естественным ходом воссоединились, и этого как бы никто не заметил.

Ну а я... ох, надо дух перевести, – я долго принимал у Любы библиотеку. Библиотека была не большая, но и не маленькая, собранная со всех концов России с помощью и при содействии тыловых библиотек, шефствующих над почтовой военной частью. Предполагалось, что в книжном уюте я, как бывалый боец, сразу нападую на такой аппетитный кадр, девчонки предостерегли библиотекаряш на счет моральной выдержки, и потому Люба держалась со мной холодно, однако скоро уяснила, что перебрала лишка в смысле соблюдения нравственности, заметила, что я и без того перед нею робею, как и всегда робел перед женским сословием. Люба смягчилась, взгляду и голосу придавала приветливость и порой уж не говорила, а как бы ворковала, рассуждая о книгах, о культуре, делала уклон на любовные романы. Видя, что и это не подвигает меня к решительности, как бы ненароком касалась меня коленками под столом и однажды, зачем-то потянувшись к стеллажу, так придавила мою голову грудью с комсомольским значком – чуть шея у меня не сломилась и темечко, едва заросшее после госпитальной стрижки, едва не проломилось: так в него воткнулся болт не болт, но что-то твердое и до того раскаленное, что меня аж в жар бросило.

– Продырявишь башку-то! – сорванным голосом пошутил я.

– Не продырявлю. Башка у тебя дубовая. А продырявлю, так заживлю! – бодро заверила Люба и поцеловала меня в темечко, да еще и погладила по голове.

После таких ободряющих слов и действий я с табуреткой подвинулся ближе к Любе, и она не отодвинулась. Наступили сумерки. Свет мы не зажигали. Я, осторожно подкрадываясь, поцеловал Любу в шейку ее нежную, после и до губ добрался, до тех невероятных, редкостных губ, что манили к себе пуще спелой малины. Я, конечно же, воображал, что может статься с мужчиною, награжденным поцелуем этаких яростно-жарких губ. Но слабо, ничтожно слабо оказалось солдатское воображение, чтобы выразить чувства, пронзившие меня. Тут только поэту пушкинского масштаба хватило б таланту и силы выразиться до конца и объяснить словами мое ошеломленное, полубормочное состояние. Обмерев, сидел я, обняв Любу, и не верил привалившему невероятному счастью своему. И не иначе как от неверия даже

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

отстраняться начал от Любы, пока еще не ясно, одна ко тревожно сознавая всю гибельность момента. От непосильности поцелуя сердце, замершее во мне, неуверенно водворялось на свое место и так разошлось, расстучалось, что Люба услышала его и, гася звук и трепет, приложила ладонь к моей разгоряченной груди. В потемках, в таинстве густого украинского вечера мы целовались с Любой до беспамятства, и я уж начал было кренить ее на спину, шариться под обмундированием, как в самый напряженный момент Люба поймала мою руку, отвела ее в сторону от горячо дышащего места и резко от меня отстранилась.

– Хватит! – Прерывисто подышала и уже почти спокойно добавила: – Сладкого помаленьку, горького не до слез.

На заплетающихся ногах прибрел я в солдатское общежитие и, сбросив сапоги, упал лицом в подушку, набитую соломой. Что это со мною было? Солдатики беззлобно подшучивали: допоздна, дескать, принимал библиотеку, устал, укатался, бедняга. Какие уж тут танцы? Какие развлечения? До койки добрался живой, и на том спасибо библиотекарьше.

К этой поре братья мои доходяги сплошь определились в судьбе своей. Сама обстановка, само помещение – эти деревянные клетки – способствовали соединению людей попарно. Как работали, так в большинстве и распределились. Девки уж и покрикивали на «одноклеточников» своих, и ревновали, и заботились о них: стирали, подворотнички подшивали, пуговицы и медали чистили, следили, чтоб по утрам и вечерам парни непременно мыли руки соленой водой или керосином, иначе чесотку или экзему через письма поймать могут. Девахи, которые посообразительней, уже и рокировку на квартирах сделали – вместо напарницы подселили к себе стажера-кавалера...

Но резвились в Ольвии и вольные казаки. Попавши в малинник, ели они ягоду только с куста, порой и не с одного, да охотушать себя не давали. По местечку ходили табуном, орали под гармонь соленые частушки и прибавляли соли по мере приближения к помещениям цензуры; зорили сады, за кем-то гонялись в темноте, добывали самогонку; завалившись в клуб, куражились, задирались, по пролетарской привычке затевали драки с «белой костью», которая являлась на танцы с цензорского холма. Там, на холме, тоже в школе, но уже средней, обретались кавалеры, в большинстве имеющие офицерские звания, румянькие, иные уж и с брюшком, не калеченые, не битые, – и в первой же драке они изрядно навешали доходягам; старшине Колотушкину и нос набок своротили...

Орлы наши, да и то не все, знали только приемы штыкового боя. Энкавэдэшники же владели приемами рукопашных схваток, и успех явно был за ними, но фронтовики-отчаюги сдаваться не хотели и готовились к новым сражениям. Меня поражало, как быстро и незаметно парни перешли на «мирную рельсу» и образ жизни вели уже по деревенским умным законам – где барачным, а где и арестантским. В общежитии появились ножи, кастеты, наган.

Почувствовав неладное, командир нашей почтовой части майор Котлов провел беседу со вновь прибывшими, делая упор на то, что пока мы еще военные и трибунал располагается неподалеку, штрафбаты не отменены и работы у них по восстановлению народного хозяйства много. Зная, что едва ли вонмут его разумным словам отважные воины, не очень доверяясь рассудку, майор Котлов велел назначить патрулей с красными повязками на рукавах. В цензуре тоже предприняли соответственные действия – назначили своих патрулей с пистолетами, новыми, в бою не обгоравшими.

Мир в Ольвии, хотя и шаткий, был восстановлен.

Разборка завалов почты продолжалась. Работали и сверхурочно, работали из последних сил и терпения, веря слухам и письмам фронтовых подруг, что в тойто части, в том-то соединении девчонок уже отпустили по домам. А здешние почтари все еще парятся в пыли и духоте, потому как их смена, эти фронтовые кавалеры, работать не хотят, жрут самогонку да девок портят. Некоторые хитрованы вроде Сереженьки Слесарева пристроились в тепленьком местечке, подкатились под тепленький бочок к разным Любушкам-голубушкам и о нуждах предприятия ничего знать не желали. Но девки зря волокли на меня: я не только караулил библиотеку, помогал Стеше и Женяре раздавать по сортировочным клеткам пачки писем, но и... плоское катал да круглое таскал – уж гимнастерка лоснилась от пота и грязи.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

Интеллигентная же библиотекарша не изъявляла желаний ее постирать. Тамара – опять же Тамара – содрала с меня гимнастерку:

– Совсем ты, братец мой, заослел! Совсем тебя змея та подколотная запустила да заездила. Гитлер тебя ружьем подшиб, игрунья эта толстомясая любовью добивает!.. Лизаться завсегда готова, а обиходить бойца, пожалеть тут ее нету! Завтра же и штаны принесешь – зашью. А то обносился, как пленный румын. – Все это говорилось громко, чтоб люди слышали и понимали, кто тут чего стоит и кому есть сестра, старшая сестра, и кто есть «змея подколотная».

Миша-молдаванин замороженно смотрел на летающую по клетке соратницу и слушал речи ее, словно стихи из хрестоматии. Глаза его темно-виноградного цвета светились молитвенной умиленностью.

Пыль, вздымаясь над сортировочными клетками, плавала, клубилась вокруг лампочек под потолком коридора. Пыль на стенах, на окнах, которые всегда были с двумя рамами и не открывались даже летом, сохраняя военную тайну. От духоты и непросветности на девчонок наваливались тоска и досада. Проплясавши возле сортировочных ящиков юность свою, кто и молодость, они прониклись ненавистью к службе своей и работе, впадали в истерику, швыряли пачки писем на пол, и, случалось, разносился вопль по сортировке: «Не могу-у-уу больше! Не могу-у-уу!»

– Перестань! Уймись! – через заборки клеток тонко орал на бунтовщицу начальник Виталья Кукин. И кто-нибудь из активисток тут же впристяжку:

– Не одна ты тут такая цаца! Каково на фронте-то было нашему брату? В грязи, в холоде, среди мужичья..

Каково-то оно было на фронте, предстояло узнать сортировщицам от своих стажеров-доходяг. Не все они речисты и памятливы, не все умели и хотели рассказывать, но девичьему бунту молча сочувствовали, и он часто тут же угасал, дело заканчивалось тем, что кто-нибудь взывал: «Споемте-ка лучше, девчонки!» Были тут и украинки с прирожденной певучестью, и одна из них, а когда и все разом, заводили песню. Сотня давно спевшихся, по клеткам распределившихся сортировщиц, изливая душу, возносилась голосами до такой пронзительной высоты и слаженности, что коробило жалостью и восторгом спину, шевелило волосья на голове, каждый корешок по отдельности, мелким льдом кололся холод под кожей.

Как пели! Как пели эти отверженные всеми, вроде бы забытые, в бездонный омут войны кинутые девчонки. Захлебывались они от песен своих слезами, давились рыданиями, отпаивали друг дружку водой. Сказывали, Виталий Фомич Кукин пытался запрещать пение во время работы, но его грубо срезали:

– А в уборную, поссать, гражданин начальник, можно? – и замерла готовая взорваться сортировка.

Начальник побежал жаловаться командиру части.

– И что у тебя за привычка лезть к людям в душу? – оказал майор Котлов, вроде бы человек недалекий, мужиковатый, но у него в Челябинске остались две дочери, и он, думая о них, примерял к ним судьбы военных девчонок.

Однажды уломали девки спеть Любу. И тут же зашипели: «Она, когда поет, не любит, чтоб на нее смотрели», – и поудергивали парней в свои клетки. Я законно обосновался в клетке Сони и Тамары с Мишей-молдаванином.

Люба, будто на политинформации, взгромоздилась в коридоре на стол. Сортировка замерла.

Во далеком поле, во чужой сторонке.

Вроде и не из глотки, не из груди, не из чрева человеческого, а из самого пространства возникал густой звук. Мужским почти басом заполнилось казенное помещение. Звучащей небесной дымкой обволокло все сущее вокруг, погрузило в бездну всяческих предчувствий – беды ли неотмолимой, судьбы ли непроглядной.

Какой же силой наделил эту женщину Создатель, обобрав полроты, а может, и роту бедных женщин! «Растет камышинка, горька сиротинка», – выдохнула песнопевница с

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru
той неизъяснимой тоской, коя свойственна лишь давно и много страдающей женщине да птицам, в чужезадельные страны отлетающим осенней порой. Откуда же Любе-то ведать о той женской вечной тоске и страдании вечном?.. Откуда?!

Камышинку эту ветер-стужа гнет,
Ты не плачь, не сетуй, вновь весна придет.
Не грусти-ы-ы-ы, вновь весна придет.

Что-то переместилось в голосе, сошел он совсем уж с горького места, среди которого, взяв обгорелую трубу, стояла печь с задымленным челом, и из нее, из трубы той, разносило по опустошенной земле вой, стон иль просто ввысь посланный вздох.

Тревожно и сладостно было сердцу, щемящий холодок проникал в него, как чей-то зов, как слабая надежда на спасение и утешение. Люба-то знала, чего ждут от нее девчонки, потрафляла растревоженно замершему люду, надежду на лучшую долю переносила из сердца в сердце.

«Обертон!» – со смесью жути и восхищения прошептал в своей камерке начальник сортировки Виталий Фомич Кукин – он учился когда-то музыке, понимал маленько в ней и знал музыкальные термины.

А я, кажется, начинал уяснять, отчего не льнут к Любе парни, к такой ее вроде бы домашней и доступной красоте. Не-до-ся-га-е-мо! Помилуй и пронеси мимо этакой тайной силищи слабого духом мужика, меня прежде всех.

Так и я, девица, камышинкой горькой
На ветру качаюсь и от стужи гнусь,
На чужой сторонке плачу да печалюсь:
Кто меня полюбит? Кто развеет грусть?

Достигнув какого-то края иль обвала за далью, за тьмою, плачем не то одинокой волчицы, не то переливом горлицы за дубравой оборвалась песня. Песня оборвалась, но звук все бился, все клубился в тесном пространстве и, не вырвавшись из него, опал туда, откуда возник.

Какое-то время в сортировке ничего не шевелилось, не шуршало, казалось, любое движение, стук, шаг неизбежно что-то обрушат.

– Ну, Любка, подь ты к чертям! Тебя наслушаешься – так хоть удавись...

– А ты не слушай, коли сердцу невмочь, – крикнул кто-то из парней и захлопал в ладоши. – Н-ну, молодец, Люба! Н-ну, творе-ец!

– Кабы я не молодец, так и вика Кукин был бы не засранец! – громко отозвалась Люба, спрыгивая со стола. Нарочитой грубостью, громом обрушившегося с высоты тела разряжала она обстановку, снимала гнетущее впечатление с народа, возможно, и с себя.

* * *

Иссякал поток писем с фронта и на фронт. Капитулировала Япония. Война на земле остановилась. Надолго ли?

В действие вступал как бы в тени все время державшийся лейтенант Кукин. Назначено ему было в боевых походах вести политчас, и он-то, находясь тогда в тесном контакте с экспедиторшей и библиотечаршей Любой, поставил ее политинформатором, оставляя за собой главное воспитующее дело – политчас.

Будучи главным начальником над почтовым бабьим эскадром, держал он сортировку строго: бить – не бил, орать – не орал, но как глянет в упор, поведет усами и бородой из стороны в сторону – тут же кадр его описается в казенные штаны.

Но вот настали иные времена, и повалил в часть мужик, пусть и неполноценный, пусть увечный, а все же мужик, и военные девки, всю войну ждавшие избавления от оков, пусть и не общевойсковых, хотя бы от гнева своего начальника, воспарили духом, сделались, дерзкими, бойкими на язык, хохотали много и бесстрашно. Правда, завалы почты несколько остужали их пыл и вольность, даже политчас

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevictor.ru
какое-то время не проводился: все силы были брошены на окончательный, победоносный штурм письмо-почтового потока.

За это время произошли резкие изменения во взаимоотношениях старых и новых кадров, прежде всего на сортировке: купе, как я уже заметил, располагали к воссоединению пар, и чем они плотнее воссоединялись, тем непослушней делались.

Еще недавно безропотные почтовые кадры восприняли пополнение не только как защитников Родины, но и просто мужиков, о которых в народе говорится: «За мужа завалюсь – никого не боюсь», считали их судьбою к ним ниспосланными на личную защиту. Хотя девки и соблюдали почтение к начальству, прежде всего к непосредственному, но ох и вольны, ох и веселы, ох и бойкоязыки сделались! В строй не собьешь, команды вроде не слышат, в столовую не строем, но под ручку со стажером норвят следовать. Гуляя по Ольвии вечером или по саду – глаза отводят, не приветствуют, честь не отдают.

«Не рано ль, голубушки, демобилизовались?! Не рано ль из железных военных рядов вышли?!» – думал Виталя Кукин и, возобновив воспитующие беседы, обязал всех, и прежде всего вновь прибывших сортировщиков во время обеда или после работы в обязательном порядке присутствовать на политчасе, который порою растягивался и на два часа.

Политчас чаще всего проводился в просторном коридоре сортировки. Если же погода располагала, уходили в сад, сгоняли с поляны коров, очищали от лепех траву и, разлегшись на вновь зазеленевшей от рос и дождей муравке вперемежку с девками, орезавшими духом и налившимися телом, невинно с ними заигрывали: то теребнут, как в школе бывало, за вихор, то шлепнут по мягкому месту, то поздним желтым цветком проведут по смеженным глазам. Иные парни уже похозяйски, открыто нежились, положив голову в ласковые женские колени. Словом, блаженствовали отвоевавшиеся, много перестрадавшие бойцы, достигнув долгожданного берега. И осень, как по заказу добрая, теплом и лаской реяла над людьми, и поздние яблоки, но чаще груши со стуком падали-катились вниз, сшибая с дерева последние листья.

Толя-якут, не знавший, как еще выразить товарищам, и прежде всего подругам, чувства любви и дружбы, собирал фрукты по саду в кем-то забытую корзину, высыпал их к ногам своей напарницы Стеша. Стесняясь такого, явно первобытного, внимания, объятая чувством коллективизма, царящего в почтовой части, Стеша взывала: «Девчонки! Ребята! Берите яблоки, берите груши! Тут так много! Берите!..»

К этой-то публике, блаженствующей на полянке, похлопывая по ладони красным блокнотом, на котором значилось слово «Агитатор», и приближался лейтенант Кукин с намерением пусть не сразу, не вдруг идейно просветить ее, внушить важность передовой социалистической идеологии и значение текущего момента.

В ту пору, когда Виталя Кукин не был еще лейтенантом и агитатором, ослепленный ярким светом бурной действительности, в которую он в судорогах и материнских столах сподобился явиться, казенного спирту хватившие больничные повитухи-акушерки правили мокрому младенцу головку и вместо того, чтобы лепить ее с боков, хряснули бесчувственной ладонью по темечку и сплющили головку, а вместе с нею сплющилось и все остальное: лоб заузился, переносица расползлась, нос поширил и вознесся вверх, рот сделался до ушей, – все сместилось на лице младенца, лишь на подбородок не повлияло. Виталя Кукин боролся с изъянами своего лица посредством усов и бороды, старался придать облику своему мужественное выражение, полагал, что усы и бороды затем и носили русские офицеры – чтоб выглядеть внушительно.

Помкомвзвода Артюха Колотушкин по мере приближения агитатора замечал, как лейтенант робеет, с опаской ступает на поляну. Подпустив его на определенную дистанцию, командир Артюха Колотушкин вскакивал с земли и, придавая первачом сожженному голосу полководческую зычность, командовал так фомко, что ввергал пропагандиста в испуг:

– Вста-ать! Хир-р-рна-а-а! – Прикладывая руку к пилотке, побеждая хромоту, Артюха следовал навстречу военному пропагандисту. – Ты-ыщ лейтенант! Военно-почтовое соединение эс-эс-сака, номер сорок четыре дроб шашнадцать, для проведения политчаса собрано!

– Вольно! – кивал головой лейтенант Кукин. – Разрешаю сесть.

Церемония, эта военная очень нравилась Витале Кукину. Особое удовлетворение он получал от слова «соединение» – неизвестно почему и отчего возникшего в вечно хмельной голове Артюхи Колотушкина. Агитатор воспринимал его значительность, указующую на мощь ему вверенной военной силы в патетическом, так сказать, смысле, столь свойственном Советской Армии, где громкое слово имело силу решающую.

Отец Витали, Фома Савельевич Кукин, работал начальником железнодорожной станции. Мать на той же станции ведала кадрами. Шишки оба. Сына они воспитывали с уклоном на новоаристократический интеллект: отдавали его в студию для художественно одаренных детей, даже в балет приспособляли, затем в местное музыкальное училище, которое он с натугой закончил, сносно брэнчал на пианино, писал заметки в армейскую прессу, рисовал стенгазеты как для родного почтового пункта, так и для военной цензуры, считал себя в здешних военных кадрах многогранно развитым и самым умным офицером. Да так оно, пожалуй, и было. Порученное ему партией агитационное дело выполнял Кукин со всей ответственностью, тщательно готовился к проведению политчаса, из-за чего подолгу засиживался в библиотеке, где и увенчалась его агитационная работа неожиданным успехом. Молоденькая, цветущая библиотечкараша, тоже с интеллектуальным пошибом, не чуждая романтизма, пала жертвой яркого пропагандистского слова.

В до антрацитового блеска начищенных сапогах, с портупеей через плечо, с кобурой, на которой было отчетливо видно тиснение щита и меча, подтянутый, серьезный лейтенант Кукин зачитывал своим слушателям переписанные из блокнота военного пропагандиста новости, пересказывал международные события и свои соображения по их поводу.

Народ дышал чистым воздухом, подремывал, кто украдкой откусывал от яблока, кто перешептывался с подругами. Артюха Колотушкин, упав лицом в раскоренье старой яблони, делал вид, что слушает, на самом же деле спал, но не храпел и время от времени делал движения раненой ногой: то сгибал ее, то разгибал – беспокоит, дескать, рана.

Однажды потянуло пропагандиста рассказать о боевом пути его героического «соединения», как бы между прочим сообщить о том, как на станции Попельня его однажды чуть не убило: осколком бомбы выбило стекло в здании сортировки и угодил тот осколок в стену, прямо над головой начальника.

– Это ж надо! – ахнули вояки, по два, а то и по три раза раненные. – Это ж!.. Еще бы метра три ниже – и такой умной головы как не бывало!

– Сорок сантиметров! Я лично мерил! – переходя на доверительный тон, уточнил лейтенант Кукин.

– Господь Бог лично тебя стерег, лейтенант!

– При чем тут Бог? Предрассудки это.

– Э-э, не скажите, товарищ лейтенант. Вот у нас в части случай был, завлекал в ловушку пропагандиста затейник и весельчак, маленько и стихоплет, Коляша Хахалин. – Оторвало одному бойцу голову... Он ходит, ходит, ищет, ищет... А голова в крапиве лежит, матерится: «Во, хозяин! Собственную голову найти не может!» Воины переднего края, считай братья родные, – голову на место, она громко требует: «Благодари товаришше, обормот! Не пособи оне да Бог, валяться бы мне в крапиве...» А если бы кто поумней – подобрал головуто, ведь без головы, дураку, воевать пришлось бы...

– Я ценю юмор, – кисло улыбался пропагандист, – но, товарищи!..

– Эт че?! Без головы воевать не диво. Примеров тьма, – подхватывал ко времени проснувшийся Артюха Колотушкин. – Только в связи без головы нельзя трубку телефонную не на что вешать. – Девки знали, какой юмор их ждет от Артюхи Колотушкина, воспринимали его трудно, плевались, покидали поляну. Артюха же Колотушкин вдохновлялся пуще прежнего: – Остальным всем без головы способно – доказано это и нашими полководцами, и германскими тоже. А вот без мудей не сможет воевать даже и советский непобедимый воин. Опять же в нашей части случай был: один связист-ротозей наступил на мину и оторви же ему яйца – частое, между

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

прочим, на пехотной mine повреждение, – да и забрось же их на провода!.. Охат, прыгат связист, дотянуться до проводов не может. «Бра-а-атцы! – вопит. – Какой же я буду без мудей такой мудака?! Помогите!» Бойцысвязисты матерно ругают подвесную армейскую связь, то ли дело своя, полевая, – она в поле на земле лежит, потому и зовется полевой. Надо лестницу, а где ее на передовой взять? Связисты – первейшие трепачи – раззвонили по всему фронту о происшествии. До штаба весть докатилась. Звонок оттуда: «Врага тешите? Трибунал высылаем!» – «Лучше лестницу!»

Давай на верхах согласовывать вопрос насчет лестницы с политотделами, с членом Военного совета фронта, с первыми и вторыми отделами, с финансистами, с технарями. Но... без согласования с Кремлем никто решить вопрос не берется. А яйца так на проводе все и болтаются. Связистки и разные регулировщицы сбежались, колибер прикидывают; особняки шустрят: не сам ли себе боец членовредительство учинил? Технические спецы изучают мощь вражеской мины, чтоб противопоставить врагу свою мину, чтобы если ударит, так не только муди фашистские, но и весь прибор – в брызги! Начальник политотдела фронта первый раз за войну на передовой появился – с намерением утешить бойца отеческой беседой. «Боевой листок», говорит он пострадавшему, по поводу этого сражения уже нарисован, передовица в газету пишется, насчет лестницы лично он проследит – чтоб изготавливали ее из лучших сортов древесины, оформлены документы на предмет представления его к медали «За боевые заслуги»...

Виталья Кукин понимал: над ним глумятся и – о, ужас! – вроде бы глумятся и над передовой идеологией!..

Мы, однако, дошутились бы: часть энкавэдэшная, в основе своей стукаческая. Но... спасли нас кони и начавшаяся демобилизация.

Началось возвращение людей домой. С лета еще началось, но в нашей почтовой части – только-только. В цензуре и вовсе пока не шевелились. Нужен, нужен контроль, узда нужна развоевавшемуся, чужой земли повывавшему, фронтового братства, полевой вольности хватившему, отвывавшему чужих харчей и барахла понахватавшему русскому народу. Без контроля, без узды, без карающего меча никак с ним не совладать и не направить его в нужном направлении. Без этого он и прежде жить не умел, но теперь, после такого разброда, – и подавно.

Почтовики блаженствовали в безделье, крутили с девушками романы. Виталья Кукин открыл при клубе кружок танцев, организовывал разные привлекательные игры и соревнования. Это у него получалось лучше, чем политчас.

Кореша мои госпитальные – доходяги – вовсе перестали посещать библиотеку и читать книги. Да и мне скоро сделалось не до книг. Опухшие от сна – на конюшне велось всего пять лошадей, одна верховая и четыре рабочих, начальники конюшни, сержанты Горовой и Слава Каменщиков, мобилизовали резервы. Угодил и я на конюшню и жить стал вместе с начальниками в пристройке конюховки, где стояли нары, толсто заваленные соломой, с заношенными простынями и байковыми одеялами. Была нам выделена отдельная стряпка из местных крестьянок. Военных женщин уже никакой работой не неволили – их партиями отправляли домой. Однако наших наставниц и цензурных щеголих еще много шаталось по местечку, танцевало и пело в клубе, обнималось по садам и темным переулкам.

Баня в местечке была одна. В пятницу ее топили почтовики, в субботу цензорши. Солдаты стучали в стенку кулаками, залезали по лестнице на чердак, намереваясь высмотреть в чердачный люк, где у цензорш чего находится. Когда мылись наши девки, им приносили из колодца дополнительно воды.

Не раз случалось, кто-нибудь из наших ребят «нечаянно» затесывался в редко сбитый из досок предбанник и «нечаянно» сталкивался там с нагой или полунагой сортировщицей. Вышибленный оттуда, боец сраженно тряс головой: «Ребя-а-а-а-та-а! Погибель нам!..» – «Бесстыдники окаянные! Ошпарим шары, будете знать!» – кричали девки из бани, но особой строгости в их криках не выявлялось: глянулись им волнение в сердце поднимающие мужицкие шалости. Толякут, тот самый, что сыпал яблоки к ногам самой беленькой, самой застенчивой девушки Стеши, упорный следопыт и охотник, достиг своей цели, вытропил голубоглазенькую жертву, по цвету глаз в голубой халат одетую. Поверху халата Стеша повязывала фарток с оборочками из цветного лоскута. Не глядя на постоянную пыль и головную – до глаз – повязку, Стеша умудрялась оставаться опрятной,

беленькой и даже нарядной. Она завистливо поглядывала из коридора на бегающих, хохочущих и поющих подружек-сортировщиц, особо в кладовку, где царствовала ее подруга по ремеслу Женяра Белоусова и помогал ей в делах Коляша Хахалин – парень хотя и хромым и непутевый, но все же парень, кавалер. Норовя быть поближе к удачливым подругам, Стеша пускалась на маленькую хитрость – раздавая для сортировки письма, говорила каждой из них: «Я тебе хор-рошие уголочки подобрала!» Хитрые русские крестьяне и поселковые ловкачи, обороняя личные секреты, прошивали уголки письма нитками, проволокой, даже струнами. Сортировщицы ранили пальцы, особенно рвали руки цензорши, которые непременно должны были уж если не прочесть письмо, то хотя бы «распороть».

Отбой в солдатской общаге, как и положено, – в одиннадцать, подъем – в шесть. Но младший лейтенант Ашот Арутюнов и его помощник, помкомвзвода старшина Артюха Колотушкин, в такой ударились разгул, что войско свое кинули на произвол судьбы, в общежитии объявлялись на рассвете, падали на постель, часто и амуниции не снявши. Столоваться с рядовым составом перестали кормиться где-то на стороне, обретались в хатах у вдов или у военных постоялок. С прудов начали пропадать гуси, утки, со дворов – куры. Докатился слух, что и бараны, и телки терялись. Волокли вину на бендеровцев и всяких лихих людей, но, ясное дело, – без наших боевых командиров тут не обошлось. Да нам-то что до этого? Солдатня тоже волокла все, что плохо лежало. Сортировщики блудили и в почте – выбирали табак, денежки, кисеты, цветные открытки, что каралось как на почте, так и в цензуре строгими мерами, вплоть до трибунала. Но послепобедный разброд и шатание в армии, предчувствие близкой демобилизации, сама себе разрешаемая вольность совсем развалили дисциплину и в такой законопослушной, бабски-покорной части, как наша, по словам Артюхи Колотушкина – «соединение» за номером сорок четыре дроб шашнадцать.

Однажды утречком невыспавшиеся бойцы трудно поднимались с жестких казенных постелей. Арутюнов и Колотушкин, как положено комсоставу, спали отдельно, на железных кроватях, все остальные – на общих нарах. Кривоногий Артюха Колотушкин на этот раз спал об одном сапоге, в полуснятых комсоставских галифе, заелженных на коленях, – раздеться у него не хватило сил. Арутюнов снял сапоги, штаны и гимнастерку, но отчего-то держал ее на весу, за погон, – видать, совсем недавно он стискивал что-то живое, драгоценное, и не хотелось ему выпускать добро из рук.

Кое-как поднялись, разломались воины, ополоснулись, из ведра у колодца, а командиры спят. Без командира куда же? Хоть Артюха, да нужен: в столовую без старшего не пустят. Спал старый разведчик и ходок Артюха боязно, и когда его трягнули, подскочил на койке, рукой зацапал вокруг себя, оружие нашаривал, огляделся, на разутую, на обутую ногу посмотрел. «Где я?» – спросил. «На Украине», – ответили ему. Воздев взор, Артюха Колотушкин простонал: «Господи! Как от Вологды-то да-леко-о...»

Не строем – какой уж тут строй? – сбродом поднялись вояки в горку, к столовой, и слышат: «циколки» – так уничижительно почтовики и почтарки звали цензорш, – столпившись на крыльце своей столовой, хохочут, тыкая пальцами на наш солдатский строй. Чем дальше на горку топали бойцы, тем шире разливался хохот, иные «циколки» аж взвизгивали. Цап-ца-рап – хватались бойцы за ширинку, и у кого она не застегнута, на ходу принялись приводить себя в порядок. Однако смех не утихал. И тогда Артюха Колотушкин – отец, командир и защитник солдата – взялся оборонять свое войско:

– Шче тут смешного? Бойцы на защите Родины изранеты, вот и храмлют.

Тут уж и наши девки, столпившиеся на крыльце почтарской столовки, располагавшейся рядом с цензорской, покатались со ступенек, что переспелые тыквы. А из строя, мелькая кальсонами, метнулся под гору, в общежитие, Толяякут. Это он до того домиловался со своей Стешей, что от переутомления продолжал дремать во время подъема – сапоги надел, гимнастерку надел, даже подпоясался, но штаны надеть забыл. В столовую Толя не вернулся, на работу не явился. Было решено выслать в общежитие Стешу. Долго ли, коротко ли она утешала своего кавалера, но привела его за руку в сортировку, поставила среди коридора, сама рядом обороной встала.

– Мы, когда демобилизуемся, распишемся, – громко, чтоб по всем купе слышно было, объявила она. – Вот. И нечего! – На этом месте речь Стеша прервалась, она

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

залилась слезами. – Мы с Толей в Якутию поедem, там якутины живут... Оне, как азиаты, мясо сыро едят и... рыбу. Страшно вон как! А вы?!

Девки изо всех клеток повысыпали – утешать и поздравлять Стешу. Мужики били Толю-якута по спине. «С тебя поллитра!» – говорили. Дело кончилось тем, что Стеша и Толя-якут перестали таиться. Демонстрируя дружбу народов, ходили по местечку держась за руки и на работе все чего-то шушукались. Стеша уж и покрикивать на Толю начала, а он, как бы испугавшись, обалделый от счастья, стукал сапогом о сапог и звонко выкрикивал: «Слушаюсь, товарица командира!» Северяне – мужики надежные, не то что их старшие братья-русаки – сходятся да расходятся, сиротят ребятишек. Одной крепкой семьей в Якутии будет больше.

Я, конечно, тоже не хотел угнетаться одиночеством. Высматривал симпатию, внезапно подбортнулся к поварихе фросе, приносившей обед на конюховку. Она, в отличие от военных почтарок, жила на отшибе скромно, одиноко, грустная, мало разговорчивая, вроде как сытым кухонным паром ее разморило иль угорела она до полусна. Раз, другой, кругами, по садам и закоулкам, проводил я фросю домой, затягивал ее в затень. И она давала себя увлечь, позволяла обнимать и целовать. Я уж начал плановать свою жизнь дальше, но фрося вдруг стала меня чуждаться, опуская глаза, роняла, что ей опять до самой ночи, если не до утра, дежурить на кухне, да и дома дел много.

Я пробовал приклеиться к свободным военным девахам, но и они, пройдясь со мной по улице Ольвии, вежливо уклонялись от дальнейших гуляний, особенно по саду. Тогда я подумал, что причиной всему была моя хромота, хотя она почти уже не замечалась, мое будто когтями исцарапанное лицо. Но ведь были среди моих корешков куда более хромые, кто с поуродованным лицом, кто со стеклянным глазом, – и ничего, находилась и им пара. Самоистязание, только оно могло помочь моему горю – я подменял дежурных на конюшне, возил с полей сено, солому, ходил пилить и колоть дрова в хату, где жили Тамара и Соня, чистил конюшню, а в вечернюю пору пел во весь голос прощальные песни, наводя тоску и на себя, и на лошадей; читал книги при свете фонаря и не ведал, какие козни творятся вокруг, какое давление оказывают на девчоночье поголовье тайные силы. И все из-за меня.

Бывшая моя напарница, преподобная Тамара, всё про всех знавшая, могла бы мне кое-что объяснить, но она была так занята своим Мишей-молдаванином, так прыгала на своих мушиных лапках вокруг него, так его стерегла, что уж боялась спугнуть свое нечаянное, оглушительное счастье.

Из-за границы, то ли из Румынии, то ли из Венгрии, а может, из наших ликвидированных воинских частей поступали и поступали в Ольвию лошади. Почему к нам, в почтовую часть, гнали и гнали лошадей – объяснить никто не хотел. Военная, опять же, тайна... Слава Каменщиков, которого чуть не оженили на дочери хозяина, по-нашему, по-конюховски, чуть было не осаврасили, – Слава объявил хозяину и хозяйке, у которых был на постое, что отец его лежит в госпитале, шибко плохой, а семья у Каменщиковых большая – надо ее поддержать, кроме того, он надумал учиться на филологическом факультете. Хозяева зауважали Славу за слово «факультет» и отпустили его на свободу.

Увернувшись от семейных оков, Слава боялся уже заводить знакомства с девушками, кроме того, он был назначен старшим конюхом, меня же зачислили его помощником. Коляшу Хахалина Слава со смехом назвал заместителем по культуре.

Весело, бесшабашно жили мы до поры до времени. Но день ото дня работы становилось все больше. Днем возили с полей зеленку, овес, косили отаву по речке, ночью один из нас дежурил возле конных дворов с заряженной винтовкой, потому как слухи, пока только слухи, о действиях бендеровцев в здешних местах докатились и до Ольвии. Сколько тоски и страданий вынесло мое молодое сердце, когда я, сидя на копне соломы с зажатой меж колен винтовкой, слушал доносящуюся из клуба музыку, сердце рвущие вальсы, фокстроты и танго. После окончания танцев в клубе, парочками, где и гурьбой, разбрелись люди кто куда. Иногда гуляк заносило во двор сортировки, и они там хохотали, пели, свистели, парни взбирались на деревья, трясли груши, к холоду сделавшиеся сахаристыми; шныряли по окрестным садам, хотя особой надобности в том и не было: общественный сад Ольвии гектаров в двадцать и пришкольные сады ломились от яблок, груш и поздней сливы.

Но от жизни куда спрячешься? По Ольвии ездить мне приходилось не только на

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

телеге, на возу, случалось гарцевать и на великолепном жеребце, непринужденно постегивая кончиком ременной узды по сапогу. И только тут мне дано было постигнуть смысл существования конного человека, форс гусара, величие полководца. На коне, и только на коне, а не на обляпанном грязью «виллисе», тем более на суетливой «эмке», может предстать и смотреться поорлиному военный командир. И хотя я никогда не был командиром, даже в ефрейторы не вышел, жеребец мой в званиях не сек, он чувствовал человека спиной и всячески старался, подлец, выявить не только свое величие, но умел подчеркнуть значимость и красоту наездника.

По Ольвии он не просто ступал, он, точно балерина, не стуча копытами, то пританцовывал, то сдваивал шаг, то рассыпал его в легком галопе. Голова жеребца гордо взнята, шея выгнута, глаза, в зависимости от того, на что падал его взор, наливались и сверкали красным пламенем иль кровью. А уж если встречу попадалась женщина, в особенности молодая, – вздымался ввысь и, конечно же, вздымал вместе с собою и седока. Не скрою, мне передавалось от коня его аристократическое совершенство и достоинство. Я тоже приосанивался, упершись в стремяна сапогами, тоже пытался быть стройнее, выше, чувствовал себя красивым молодцом – в седле ж не видно, что я худ и крепко бит войною. Артист из конского сословия порой заигрывался, войдя на мосток, начинал вдруг пятиться, вроде бы боясь упасть вниз, косил глазом в бездну полувысохшего ручья, давал мне возможность повелительно прикрикнуть: «Н-не балуй!» – и за мостиком рвал в галоп, чтобы промчатся вихрем мимо помещения цензуры, коли в сторону обратную – мимо сортировки.

Ах, юность, юность, войной спаленная, в боях изжитая, в бредовых госпитальных палатах пропущенная, – никак ты не хочешь сдаваться без веселого баловства, без того, чтобы умчаться навсегда, не сверкнув серебряной подковой.

Заворачивая как бы по некоей надобности во двор сортировки, я трепался с ребятами, стрелял глазом в девчонок, заходил «в гости» к своим наставницам. Соне и Тамаре. Улучив момент, Тамара шепнула мне: «Сегодня по корпусу Люба дежурит. Одна! Подчаска не берет, чтобы тебя видеть», – и отскочила, потому что глаза Миши-молдаванина начали наливаться свинцом ревности.

Ну, дела! Видать, на жеребце-то, на высоком кожаном седле я и в самом деле смотрюсь что надо!

Со Славой Каменчиковым мы сдружились так, как могут дружить лишь фронтовики, – по-братски. Обиходили мы помещение, даже украсили его занавесками и заграничными открытками по стенам. Подражая ближнему начальству, тому же лейтенанту Арутюнову и старшине Артюхе Колотушкину, поставили железные кровати, отчего фрося, стряпка наша – ничего, правда, не стряпавшая, только разогревавшая еду, принося ее с общей кухни, – зауважала нас еще больше. Ребята зарились на наше помещение. Артюха Колотушкин пробовал было и девок приводить, да Слава осадил Артюху: «Здесь служебное помещение, а не случной пункт!» – и укатился Артюха на кривых своих ногах искать уединения в другом месте.

Я сообщил Славе насчет свидания с Любой, и он охотно согласился дежурить по конюшне хоть всю ночь, если надо, и служебное помещение освободить по первому требованию. В клуб и на гулянья Слава не ходил, и не потому, что напугался, когда его чуть не оженали, главным образом от горя: в госпитале умирал его отец. Строгий, прибранный, самостоятельный парень Слава Каменчиков.

Я около него тоже подобрался, но, проявляя тонкое понимание момента, волокитство мое Слава терпел и подсоблял как мужику чем мог, хотя порою и ворчал на меня.

Дождавшись темного вечера и опустения улиц Ольвии, подался я кружным путем, через сад, к сортировке. Стегая прутиком по сапогу, беспечно напевал я: «Нет на свете краше нашей Любы, темны косы обвивают стан, как кораллы, алы ее губы, а в глазах лаз-зурный о-ке-ан...»

– Вот так дурень! – сказала из темноты Люба и, поднявшись со скамьи, где сортировка делала перекуры и трепалась, обняла меня, прижалась горячей щекой к моей щеке. Вышло это так ласково, что отпала всякая охота ерничать и выкаблучиваться. Долго мы стояли в обнимку, не шевелились и ничего не говорили.

– Что ж ты бросил меня? – прошептала Люба, не разнимая рук, грея мою щеку и шею

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru
своим теплым дыханием. – Я жду, жду...

– Зачем я тебе, Люба?

«Зачем я тебе, такой ладной, многими талантами наделенной молодежи, изуродованный, надорванный войной мужичонка, не имеющий ни образования, ни профессии – ничегошеньки-то ничего, кроме надежд на будущее»... Уразумевши, что все эти мои мысли Люба тут же разгадала, я вдруг брякнул, что буду учиться в университете, на филфаке, хотя, чему на этом филфаке учат, даже смутно себе не представлял.

– С семью-то классами на филфак?! – вздохнула Люба и, отстранившись, дотронулась губами до царапины на моем лице.

– А я справку достану или подделаю.

– Какую справку?

– Что десятилетку кончил.

– Говорю – дурень! – поерошила Люба мои чуть уже отросшие волосы и потянула меня на скамейку.

Мы сели, и нечего стало делать. Мне в голову ударило – держаться на шутовой, дураковатой волне, и я начал рассказывать о единственной пока своей, безгрешной, госпитальной, любви. Но с заданного тона я скоро сбился и повествование закончил грустными словами:

– Я ей даже ни одного письма не написал.

– Все по причине самоуничужения?

– Чувство вины меня гнетет, боюсь, много слез на бумагу накапается.

– Ах ты, дурень, дурень!

– Но она скоро замуж выйдет – чтобы мне досадить.

– Откуда ты знаешь? Вы же, говоря старомодно, в переписке не состоите.

– Я чувствую.

– Гос-споди! Вот ненормальный-то!..

Мы еще посидели. Я достал из кармана по яблоку. Похрустели яблочками. Я бросил огрызок во тьму и рассмеялся, придавая смеху беспечность.

– А знаешь, Слава пообещал нам освободить помещение, если что...

– Что – если что? Не Виталя ли Кукин напелл вам чего, на подвиги надоумил?

– А че, у тебя было с ним? Или треплются?

– Что было, то сплыло. За войну много чего случилось – все не упомнишь. Хватило ума без глумления рассказать о своей нескладной любви, чего я, откровенно говоря, боялась, так вот и держись благородно и не ляпай грязью святой дар.

– Вот так свидание! Роковое какое-то... – нервно рассмеялся я и придумывал, как дальше-то быть, чего молвить.

– Роковое! Батюшки, слово-то какое старинное и редкое, будто бульжину с военно-полевой дороги выворотил...

– Со мной трудно. Люба. Я ж пригородная шпана: днем, на свету, – удаль, ухарство, показуха; наедине с собой – смирен и почтителен.

– Ты хоть с женщиною-то был?

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

– Был. В станице одной, кубанской.

– И это тебе далось трудно?

– Да. А откуда ты знаешь?

– Знаю. Вижу.

Люба напряглась и отстранилась от меня, полагая, что уж тут-то я со всей солдатской откровенностью попру. Но в это время в клубе умолк баян. Народ начал разбредаться по садам и хатам. Я хотел окликнуть мимо проходивших корешков, но Люба прикрыла мне рот соленой ладонью – почта уже не ходит, но девчонки по привычке моют руки соленой водой или керосином.

Во двор сортировки никто не заглядывал, видать, Тамара провела серьезную профилактическую работу.

Прославленная украинская ночь звездным небом укрыла землю так плотно, что кипы дерев за речкою, где тремя-четырьмя окнами светилась цензура, гляделись облаками в небе, и только пики островерхих тополей не теряли своих очертаний, стойко и четко отпечатывались в осеннем, холодом веющем поднебесье, по земле, особенно густо из сада, плыли запахи мреющего листа и подмороженных яблок.

Доходяги наши, проходя мимо сортировки, блажили, свистели и ухали проводили девок и потопали в общежитие: завтра с утра всем на конюшни воздвигать пристройку. Арутюнов, кого изловил, гнал домой, тонко выкрикивая: «Прекратите!» Сделалось тихо, и от звезд иль от краешечки луны посветлело, желтые поля на холмах за Ольвией тоже посветлели и как бы придвинулись к домам, уже погасившим лампы, дальний лес, обозначившийся по-за полями, похож был на темную тучу.

– Ты знаешь, – после долгого молчания нарушила завораживающую тишину Люба, – госпитальным сестричкам, няням надо бы посереде России поставить памятник из золота, не только за то, что они лечили, грязь, гной и вшей с вас обирали, но и за то еще, что помогли вам мужчинами стать... – Люба опять чуть отстранилась, вглядываясь в меня из темноты.

– Во! Отморозила! И взаправду ты мудрец!

– Мудрец! Какого же хрена вы презираете своих спасительниц? Мерзости про них говорите. Ах, Слесарев, Слесарев! Пропадешь ты, однако, невоспитанный, от народа отсталый...

– Да ладно пугать-то, – буркнул я. – На фронте пугали, пугали... Теперь ты допугиваешь. – Я снял с себя шинель, укрыл Любу и себя. Шинель объединила нас, ближе сделала. Люба прижалась ко мне, и я прижался к ней. – Ну ее, эту войну. Да и все прочее. Научи лучше меня петь «Камышинку».

Люба не решалась нарушить ночь, помедлила, потом кашлянула в кулак и негромко запела, как бы только для себя. Понятно: если грянет во весь голос – остальные груши в пришкольном саду осыплются, лампы, которые еще светятся в хатах, – погаснут.

Так и я, девица, камышинкой горькой
На ветру качаюсь и от стужи гнусь,
На чужой сторонке плачу да печалюсь:
Кто меня полюбит. Кто развеет грусть?

«Не гнись, камышинка, не грусти, девица. Со родной сторонки веет вешний ветер, он тебя согреет, он развеет грусть», – подхватил я, и закончили мы песню в два притаенных голоса.

Тихо. Тепло оттого, что мы греем друг друга. Подмывает сердце. Люба не шевелится. И ей одиноко, и ее сердце болит. Я пробно притиснул Любу поплотнее, давая понять, что люблю сейчас и ее, и эту ночь, и мирно спящую землю, и звезды над головой, и последние огоньки светящегося селения Ольвия, да сказать об этом не смею. Да и надо ли что-то говорить? Я ведь под смертью ходил, убили бы – и ни Любы, ни ночи этой, ни сонной Ольвии, ничего-ничего для меня не было бы...

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

– Прилетит ли тот теплый ветер? Согреет ли? – прошептала Люба. – Ты про любовь свою вспомнил, да? Не надо. Не думай. Я здесь, я с тобой.

Я нашел в темноте руку Любы, благодарно пожал ее. Долго сидели мы, затем целовались и забыли о всяких горестях, о недавнем отчуждении. И начало у нас мутиться в головах. И начал я шариться по Любе, и дошарился до того, что Люба почти уж опрокинулась на скамейку, как вдруг со стоном отстранилась, зажала лицо руками:

– С ума сошли! О-о-ой, дураки-иы-ы-ы! Оба! Если уж чему быть, так не здесь же... не по-походному... – Когда унялось сердцебиение и немного прояснилось сознание, Люба погладила меня по голове: – Ну, прости! Ну еще раз прошу: не думай о девчонках и обо мне дурно. Конечно, зацепило кой-кого на боевых путях... Но, клянусь тебе, половина, если не больше, наших девчонок таскают свою перезрелую невинность, как чугунную гирию, – не каменные ведь, и любви им хочется, и плоть эта презренная томит, терпят, хотя и блудят в трепотне, в частушках-посказушках, которые онанизмом тешатся, две-три парочки лесбиянством занимаются...

– Это что еще за зверь?

– Это когда женщина с женщиной живут.

– Да ведь срам же!

– Жизнь разнообразна... Ничего-то ты не знаешь. Да и не надо тебе об этом знать. И народ наш пусть не все про войну знает. Крепче духом будет, чище телом.

Свидание наше не получило надлежащего завершения. Оба-два – умельцы наводить тень на плетень. На прощанье Люба чмокнула меня в ухо и ушла спать в сортировку. Закрывши дверь на железный засов, проходя мимо окна, увидела, что я не ушел, резко распахнула раму и облокотилась на подоконник:

– Иди ж, иди.

– Нагрянут бендеровцы, унесут тебя в лесок.

– У меня ружье. Вот! – подняла Люба винтовку из-под окна, будто из-под подола, вынула боевое оружие.

– Откуда винтовка заряжается?

– Раз оружие женского рода, значит, со ствола! – рассмеялась Люба и махнула рукой. – Да ну тебя!

Вместо того чтоб уйти, я приблизился к окну, обхватил Любу и с неуголенной жадной впился в ее губы и чуть не вытащил постового наружу.

– Да иди же ты, иди! – смятым голосом произнесла Люба. – Кажется, губу прокусил. – И с наигранным озорством пообещала, закрывая окно на шпингалет: Не будет у тебя женщины с именем Люба! Не будет! Попомни мое слово...

И не было. Закон ли природы иль высших сил происки – уж коли по небесному штатному расписанию определено вековать тебе с Зиной, то Зюечки тебе уж не видать. Я вон сколько на своем боевом, курортном, домоотдыховском и прочем пути встречал Анечек, но ни одной из них принадлежать мне не дано было, все кренило меня к Дарьям, и прикренило-таки к одной из них, и роптать нечего – с законами природы не заспоришь. Пока вот тискал я да целовал Любу в губы Ук раины, Дарья, предназначенная мне, возрастала во глубине России, училась, развивалась и неотвратимо надвигалась на меня.

Осень сделалась просторная и прозрачная, к душевному покою она совсем не располагала. Бодрящая осень. Жизнь победоносная.

Вычислив, что соседняя, все еще действующая, часть почти обезбавилась, мужичье там находится в неприбранности и разброде, но к боевым действиям каким-никаким еще годно, цензорши вспомнили об юбилее своего подразделения и по этому случаю затеяли комсомольскую конференцию с гулялкой, по нынешнему просвещенному времени называющейся на иностранный манер – банкет, если еще ближе к нашим дням –

презентация.

Увы, мне и моему другу Славе Каменщикову не суждено было присутствовать на торжествах. Так и не повидав родного дома и семьи своей, в госпитале скончался Славин отец. Родителями и войной наученный почитать не только свое, но и чужое горе, я друга своего не бросил. Я придумал заделье и увел его от конюховки к общежитскому колодцу – ополоснуться, если же баня, в которой перед юбилейным торжеством омывались «циколки», не выстыла, и постирать коечто.

Возле общежития с ноги на ногу переступал и громко негодовал сержант Горовой, назначенный Арутюновым дежурить в общаге:

– Во гадство! Повезло так повезло! Сам, армянская морда, гуляет, девок щупает. А я чего щупать буду?! И Колотушкин туда же... Н-ну, друг Артюха! Ну, отцы командиры! Я вам этого не забуду!

Мы с другом вызвались освободить бравого сержанта для более занимательных дел. Он аж подпрыгнул и, заправляясь на ходу, бегом ринулся в гору; «Я вам выпить принесу и закусить принесу-у-у-у».

Не успели мы замочить в корыте портянки и белье – бац! – гости к нам. Две девицы: миловидная, пышноволосяя шатеночка с улыбочивым ртом, в котором поблескивали два золотых зуба, и ма-аленькая, беленькая, но вся такая решительная подружка ее. К удивлению нашему, они оказались из цензуры, сбежали с праздника. От бега иль от внутреннего возбуждения – у маленькой румянец во все лицо! Попросили попить. Я достал из колодца свежей воды, ковшом разлил по граненым стаканам, случившимся в общежитии по случаю пьянки. Культура! Девицы плюхнулись на скамейку возле стены, обмахиваясь платочками, разговоры разговаривают о том, о сем, отчего это мы не на празднике, интересуются. Слава в предбаннике мокрым бельем шлепает, об стиральную доску дерет его, будто сук на сердце тупой ножовкой перепиливает. Это он нарочно чтоб гости ушли. Последнее время он прямо стервенеет, если я с девками вяжусь, лишь для Любы исключение делает. «Не всей же армии праздновать да веселиться, – отвечаю я так, чтобы в предбаннике слышно было, – кому-то надо и работать, и добро сторожить». Толкую я и вспоминаю, где эту маленькую слышал и даже видел. И вспомнилось; во тьме среди грязи случилась занятная наша встреча.

Гарцую я, значит, по местечку на своем жеребце, джигитом не джигитом, но выдающимся человеком себя чувствую. Гордо мне и вольно на боевом горячем коне. Хочу – еду шагом, хочу – скачу, да так, что всякая тварь бежит прочь, всякая птица – будь то курица, будь то воробей – с криком разлетается на стороны.

Уж до середины Ольвии я догарцевал, как вижу: тащится через мосток с чемоданом и постелью, завязанной ремнями, крепкая телом женщина, одетая в военное, с погонами лейтенанта. Ну и тащись, мне-то что? Тем более она – не наша, из цензуры тащится.

– Эй, парень!

– Чего тебе, эй, девка?

– Я не девка, я баба. Ну-ка подвези мои вещи!

– Может, и тебя подвезти? – принимая чемодан на седло, игриво хохотнул я.

– Я не умею на лошадях ездить – упаду и тебя уроню.

– На машине привыкла?

– А ты как угадал?

– Зад расплющенный.

– А-а! – пощупала она себя и тут же спохватилась, погрозила мне: – Ты эти вульгарные штучки оставь своим девицам, я – женщина серьезная.

– Ух ты! – Я бесстыдно уставился на встречную и обнаружил, что она совсем не старая и в глазах ее, голубовато-водянистых, окруженных белыми ресницами,

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

бесовство, чуть конопатое лицо дышит бабьей зрелостью и таким самой себе присвоенным чувством превосходства над всеми, кого она зрит.

Звали ее Раей Буйновской. Она переезжала на другую квартиру, так как в хату, где она жила, явился с войны хозяин, и хозяйка попросила квартирантку выселиться, «щоб нэ так тисно було».

Переночевав несколько ночей в цензурной вошебойке, Рая нашла пристанище у одинокой, еще не старой вдовы. Увидев меня, хозяйка заявила, чтоб никаких парубков квартирантка не водила, но, поскольку был я на коне, поинтересовалась, не привезу ли я ей дров.

– Кто ж возит на таком иноходце дрова?

В тот же вечер явился я к Рае в гости, помог ей собрать кровать, прибил над кроватью старый гобелен с оленем, насадил валяющуюся посреди двора секиру, расколол несколько чурок, которые из-за сучков хозяйке не давались, принес с огорода мешок с фруктами, рассыпал их в сенцах на полу – в хате сразу густо запахло яблоками, пообещал бабке привести войско – копать картошку, может, и дров привезу. Хозяйка так расположилась ко мне, что напоила нас с Раей чаем. Сама, допив чай, перекрестилась и ушла за перегородку, пожелав нам доброго вечера.

Мы вышли с Раей на крыльцо, долго, хорошо говорили. Рая – ленинградка, потеряла в блокаду родных, молодого мужа убили на фронте – они и детей заиметь не успели. Когда я уходил, Рая поцеловала меня в лоб, поблагодарила за труды, за добрый вечер, сказала: если я хочу, могу приходить, но не за тем, за чем к девкам ходят, а чтоб душу отвести в приятной беседе.

Возвращаясь в конюховку, что-то я напевал довольно громко, вызывая ответные голоса собак из дворов, сбивал первый сон громодян в хатах, погасивших лампы. Из переулка вынесло меня на поперечную улицу. Дальше всякое движение застопорилось, грязь, густо замешенная в «корыте» улицы, не просыхавшая меж каменными заборами, тынами и под навесами деревьев, кисла тут и летом и зимой, вбирая в себя всякую живность, от мотылька до человека. Я пощупал сапогом дорожную хлябь, сунулся туда-сюда – везде вязко. Но как-то ж люди да и скот ходят, добираются до своих хат и дворов? И не сразу, но понял: скот бродит по пузо в грязи, люди же – где держась за тыны, где за тычины, за жерди, где – за выступы и щели в каменьях. По скользкому раскату меня сносило в «корыто», и я уж прикидывал, что, если надумаю идти к Рае в другой раз, опущусь к ее хате садом – там хоть за стволы деревьев держаться можно.

И только я наметил дальнейший план жизни, как тут же, во тьме, столкнулся нос к носу с человеком женского пола и понял, что женщина меня не испугалась, военная потому что, да и не раз, поди-ка, сталкивалась она так вот, среди грязи, под теснистым забором, со встречными путниками.

– И как же нам теперь быть? – игриво спросила женщина из темноты.

Я намек понял, но от тына не отпускался. Завязался разговор. Меня потянуло – в который уж раз за последнее время – похвалиться своей начитанностью, потому как больше-то хвастаться было нечем. Последняя книга, которую я одолел, была «20 тысяч лье под водой». Я и прежде читал эту книгу, но под менее загадочным названием, там «лье» называлось километрами, и это шибко опресняло название. Стою я, держась за тын, перед незнакомкой в непроглядной ночи и засоряю ей мозги, повторяя: лье да лье, лье да лье. Но на «лье» долго не продержишься, тем паче что я и по сю пору не знаю: длиннее это километра или короче? В разговоре установилось, что ночная незнакомка из цензуры квартирует неподалеку со своей верной подругой и та ее уже заждалась. Ну да ничего, не каждую ночь на глухой улице удастся повстречать молодого воина и поговорить про литературу. Я развивал мысль о том, что за войну отечественная культура заметно пошатнулась, ее надо укреплять, и как бы между прочим сообщил собеседнице, что после демобилизации поступлю в университет, на филфак. Филфак филфаком, но надо и домой идти, скоро заступать на дежурство. Если опоздаю, Коляша Хахалин или Горовой допрос учинят: на филфачке иль на хохлушке залежался?.. Дался им этот филфак! Девки, которые еще не разъехались, парни да и сам майор Котлов чуть чего: «Ну, эти филфаковцы!»

Я обреченно отпустился от тына. В конюховке долго отмывал из дождевой бочки

сапоги, одновременно докладывая начальнику своему – Славе Каменщикову, – где был, чего делал. Слава не без укоризны молвил:

– Опытный вроде воин, а по площадям бьешь. Тебе, хоть и рядовому бойцу, должно быть известно, что стрельба по площадям малоэффективна. Ну зачем тебе толпа девок? Ты что, султан какой? Ты простой советский калека, и дай тебе Бог с Любой управиться, не пасть в бою. Надо ж кому-то на конном дворе дежурить, животных кормить, поить...

Все время, пока наши гости, девицы из цензуры, охлаждались водичкой, Слава бухал за стенкой корытом, доской стиральной, будто пулеметом строчил. И гости не засиделись, поблагодарили за водичку, удалились туда, откуда доносились звуки музыки.

Нет, сегодня нам решительно не дано было завершить стирку, ополоснуться горячей водой и отдраить друг друга волосяной вехоткой, так как толсто зарастали мы около коней грязью и пылью. Только-только начали мы оба-два разболочаться, чтобы и амуницию, пропахшую потом и назьмом, замочить в корыте, как видим: из-за клуба вывернули и явно к нам спускаются люди военного вида.

– Осмодеи! – послышался наигранно-веселый голос Любы. – По ним девки сохнут, ночей не спят, а они прячутся, сердце ихое рвут на лоскутки и во, потрясла она подштанниками, развешенными на груше: чтоб скорее сохло, перенесли мы белье с городьбы на солнце, – стирают... Тогда как бабы за счастье сочли бы обиходить спасителей отечества, кальсонину нюхнуть... Ну, здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте, орлы-филфаконцы с конюшни, как кличет вас полководец Котлов. – Она поцеловала нас поочередно в щеки и отступила в сторону, разведя рукой, как бы церемонию представления демонстрировала: Мишу-молдаванина и Тамару да в отдалении смущенно теребящую комсоставский пояс военную девушку с волной чисто промытых волос. Белые узенькие погоны со сверкающей эмблемой – змейкой меж двумя полосками и двумя каплями янтарно светящихся звездочек – украшали это милое создание.

– Самые счастливые на сегодняшний день в Ольвии, кубыть и на всем белом свете, супруги Тамара-несмеяна и святой Михаил! – продолжала Люба представление. Тамара, прикрывшись рукой, прыснула. Миша, в одной руке державший бутылку, заключенную в прутьяную изгородь, в другой – новый вещмешок, снисходительно улыбался. – А это, ну, подойди, подойди, красавица. Они хоть и конюхи, назьмом пропахшие, ~ парни славные, книжки читают, на филфаке собираются обучаться конскому делу! А это подружка нашей Сонечки Некрасовой. Заехала вот. А Соня прийти не может.

Мы со Славой на ходу подпоясались, прибрались, сдернули бельишко с груши, снова перевесили за баню, на ограду. Но там, в тени, белье и до ночи не высохнет. Да черт с ним, с бельем! А лейтенантша-то, лейтенантша – можно сдохнуть и не воскреснуть! Вот и ее небось такой же, как я, дурак любил, обнимал и прочее. Где их, умных-то, на всех набраться. Славику, однако, на сей раз несдобровать, хоть он и кремень мужик, хоть и не хочет жениться, хочет учиться... на филфаке. Несдобровать, несдобровать! Тряхни, Славик, тряхни всеми «Славами», всеми «Звездами», всеми «Знаменами» и медалями, да так, чтоб все наши гости рот открыли, увидев, какой герой перед ними, хотя с виду простой человек, на конюшню работу ломит.

Что-то Люба сегодня очень уж раздухарилась, колоколит и колоколит, накрывая на стол, прыгает, галдит, того и гляди чего-нибудь на ней из туги ее облегающей одежды от резвости лопнет!..

– Люба! Поди сюда, – поманил я ее на улицу и сказал, что у Славы большое горе и только по этой причине – только по этой! – подчеркнул я, мы не пошли на празднества в цензуру.

– А вас никто и не приглашал! – заявила Люба. – Больно гордые оба и девок боитесь, а их там штук двести. Что предупредил – спасибо.

Общежитский стол накрыт простыней, украшен сорванными возле общежития желтыми подсолнушками-пасынками, оставшимися на обезглавленных будылях. «Как это красиво! – удивился я. – Подсолнухи в виде букета!» Чистые кружки, молдавское виноградное вино, присланное Мише родителями, спирт, выделенный военной

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru
медициной на дорогу лейтенантше, курица вареная, опять же молдавская, колбаса американская, помидоры, огурцы, лук, вареные кукурузные початки и хорошо пропеченный ржаной каравай.

– Дорогие подруженьки и друзья, Сережа, Слава! – подняла кружку Люба. Подписаны документы второй очереди, пора домой Тамаре и Мише, пора мне и Соне. Мы за это и выпить собрались. Но оказалось, что у Славы такое горе... Война продолжается и долго, видать, еще не кончится. Так выпьем стоя за еще одного павшего русского солдата.

– Спасибо! – промолвил Слава, и глаза его наполнились слезами. Он с трудом вытянул из кружки разведенный спирт, сел, укрывши одной рукой глаза, другой начал щипать хлеб.

Миша продекламировал что-то похожее на «Коку маре, маце куру».

– Миша сказал: пусть смерть и горе уходят, жизнь и радость остаются, пояснила Тамара; она готовилась к жизни в Молдавии, овладевала языком мужа. Так, Миша?

– Прыблызытэлно.

Выпили еще, потом еще. Славика не пробирало, компания не складывалась, веселья не получалось.

– Вы меня, ребята, простите, – сказал Слава, поднялся и ушел, показав мне глазами, что белье соберет и досушит в конюховке.

Выпивку мы так и не осилили. Миша еще не окреп после госпиталя, захмелел, начал клевать носом. Попытка возбудить в нем энергию бодрой песней про смуглянку-молдаванку успехом не увенчались. Зато за речкой, на холме, веселье разрасталось и уже начало растекаться по садам и закоулкам Ольвии. Тамара увела Мишу спать. Лейтенантша сказала, что после дороги хочет поваляться, да и Соня дома одна.

Дальней улицей мы с Любой вышли за околицу, в поля, местами не убранные. Медленно и молча двигались мы на солнце, клонившееся к закату, брели каждый сам по себе, со своими думами, со своей усталостью, и в то же время объединенные осенней тишиной. Не хотелось нарушать ее. Дорога, выгоревшая за лето, по обочинам снова зазеленела от все чаще перепадающих дождей. К дороге ластились, клонились отяжелевшие овсы. Приветливо желтели ясные полевые цветы осени: куль-баба, яснотка, ястребинка. Сквозь замохнатевший осот на волю выбрался упрямый цикорий. В проплешинах овсов небесно сияли мелкие васильки, если мы задевали сапогами межи, в глуби их начинали потрескивать и порскать черными семенами дикие маки.

– Тебе хоть жаль немножко, что я уезжаю? – наконец заговорила Люба.

Я пожал плечами и вымучил вежливый ответ:

– Немножко жаль.

Мы приблизились к мохнато среди полей зеленеющему, кое-где уже запламеневшему островку, огороженному колючей проволокой. К нему, точнее, в него вела едва приметная дорога. Среди островка, под ореховыми деревьями, опутанные вьющимся растением с черными ягодами, стояли давно не беленные строения, трансформаторная будка без крыши. Кинутая техника, машина без колес, тракторный скелет, теплицы с выбитыми стеклами и водонапорный заржавелый бак. Далее – тоже ржавая сетка. Навстречу нам, громко лая, выметнулась рыжая собачонка. За островком с неухоженным, полуодичавшим виноградом виднелись гряды с вилками капусты и оранжевыми, туго налитыми тыквами. Из дощаного строения с провисшей крышей вышла баба в расшитой украинской кофте, с подоткнутым подолом и, подрубив рукою лицо от ослепительно сверкающего уже на кромке земли солнца, настороженно смотрела нам вслед.

– Взят бы да и украл мне кисть винограда, – молвила Люба и, когда я начал озираться, отыскивая лазейку в спутанной проволоке, насмешливо добавила: – Не надо. Настоящий кавалер без раздумья ринулся бы на преграду. Нас-то-ящий! Она

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

свернула с дороги, спокойно приподняла бухту проволоки, пролезла около столбика в густые заросли. Явилась с двумя увесистыми кистями глянцевиточерного винограда. – Мы к самообслуживанию привыкли. Когда-то здесь была опытная станция садоводческого совхоза, дальше – бахчи. При немцах полный порядок соблюдался. Они поставили по краям две виселицы и вроде никого не повесили, но никто не смел сунуться в эти владения, ну а после – виселицы унесли на дрова, а мы их и полакомились арбузами, виноградом, вишеньем, орешками... Вы в окопах лапу сосали да сухари глодали, а мы тут, ведомые энкавэдэшниками, жировали да пировали. Циколкам, как вы их кличете, всю войну вместо табаку шоколадик выдавали, и я возле них лакомилась, гли, какое тело нагуляла!

– Ну и жируй дальше. Чего сгальничаешь-то? – Я отчего-то наедине с Любой снова построжел, напряжение во мне нарастало, выверяться начал. – Кто вам и вашим покровителям указ?

– Совесть!

– Х-хэ, совесть! – Я послушал сам и дал послушать Любе далеко на просторе звучащий баян. – Тела вот много вы тут накопили на шоколадах-мармеладах да на фруктах, но вот насчет совести... Зря фрицевские виселицы спалили, зря!

– Перевешал бы всех?

– Всех не всех, но кой по кому веревка плачет.

– Мало еще вам смертей, мало вам еще крови?..

– Не тебе об этом рассуждать.

– А кто яму для других роет, сам в нее и попадет, как в тридцатых годах было.

– Да ты-то откуда про это знаешь?

– Оттуда! – При этих сердито ею сказанных словах Люба свернула к разоренной скирде, плюхнулась на солому, лежит, ладонью от солнца прикрывшись, виноград зубами рвет, косточки далеко выплевывает и ровно не замечает, что юбка ее военная заголилась так высоко, что уж застежки черных резинок видно и чего-то дальше резинок белеется. Справная! Ляжки ядреные, грудь так ходуном и ходит, того и гляди гимнастерку разорвет! Нарочно, зараза, так развалилась, нарочно и разговор неприятный завела. Дразнится. Я пошарил по ее телесам и, когда она выпялилась на меня, сердито поддернул на ней юбку и откусил от кисти сразу горсть винограда и захрустел косточками: мне сейчас камень дай – искрошу зубами.

– Ой! – Люба села, вытаращилась на меня и со змеиной усмешкой спросила: Тебе меня хотца, да? Я лупанул в нее виноградной кистью:

– Стерва ты, больше никто!

– Хочется, хочется, – продолжала Люба, утирая ладонью лицо, – и не меня персонально, просто бабу. Любую. Ба-бу, ба-бу-бы – первобытного человека первые слова. Все это естественно, требования природы. И на первой встречной бабе ваш изголодавшийся брат и погорит! И ты погоришь, помяни мое слово! Вы, которые конопатые, – самые есть страстные и ревнивые, – щекотнула она меня, отчего я повалился на солому.

У меня, пока Люба предрекала мне ближнюю судьбу, созрело решение тоже ее подколоть: понял я, дескать, понял, на чем вы с начальником сошлись. На демагогии. На дурословии. Виталья, если в отставку выйдет, в школе самодеятельностью будет заправлять или марксизмом-коммунизмом в захудалом вузе, а ты хвостом перед хахалями будешь вертеть...

Но я смирил себя: вечер-то уж больно хороший наплыл и свидание наше, судя по всему, последнее.

– И все-таки ты, Любовь... как тебя по батюшке-то?

– Представь себе, Гавриловна.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

– Любовь Гавриловна, все-таки ты есть большая стерва.

– Не больше других.

Солнце уже половиной диска увязло в мутной тине горизонта, вторая же половина светилась красной окалиной, сжигала проступившие соломки, колосья, колючки с черными шишками. Край неба, тоже налитый красным во всю ширь, упорно и зловеще горел, и темень, вдавливающая его в землю, казалась стелющимся по небу дымом.

Установилась наконец полная тишина, вроде даже слышно стало, как в скирде осыпаются зерна с колосьев и под дородным телом Любы, ломаясь, хрустит солома. Собачонка, обеспокоенная нами, перестала таякать, и сразу забегали по винограднику птицы: шурша листвою, стуча клювами, они подбирали падалицу винограда на земле. Малая птаха, устроившаяся на ночь в ореховом древе, реденько роняла похожий на кругленькие ягоды голосок с настойчивым призывом всем успокоиться и спать ложиться. Ширился, густел и как бы приближался с полей звук цикад. Мерклый свет одиноко светящегося окна в глуби дерев и виноградника вовсе запал в кущи и запутался в их переплетении. Меня пробирало ознобом – без белья ведь на randevу попал, а мундир солдатский, бесхитростноубогий, не греет и не красит человека.

– Пошли давай, чего уж... – буркнул я и от вечерней стыни, не иначе, зазевал во весь рот.

– Да не зевай хоть! – стукнула меня кулаком по башке Люба. – Скажи лучше, как жить-то?

– Чего я тебе, вещун какой иль комиссар, который наперед знает, куда идти, чего делать, как жить. – И не удержался все же от изгальства: – Свали какого-нибудь начальника, лучше генерала – они таких сиськастеньких обожают, – и живи себе в сытости и довольстве.

– Да ты-то, пехтура, откуда знаешь генерала? Небось за версту его зрел и драное галифе со страху обмочил.

– Зато ты зрела всех во всей красе изблизя.

– Н-ну, дурак! О-ох и дур-ра-ак!

– От дуры слышу!

– Если же я хочу жизни другой?

– Какой такой ты жизни хочешь? Я слышал, у тебя мать – известная певица в Москве. Учиться сможешь. Работу по душе найти сможешь. В театры ходить станешь, музицировать, в ресторанах с хахалями пировать!.. Это мне с мазутным рылом по мазутной части служить. Отец у меня – вагонный слесарь, мать вагонная малярка. Мать держится огородом, ждет домой работника. А что я умею, что могу? Соответствовать фамилии, какую мне ротные писаря изобразили, Слесарев.

– А как было?

– Слюсарев.

– О-о, мамочки! О-о, ми-ылочка-ы! – Люба поворошила мои волосы, тербнула за ухом: – Сере-ож! А все ж таки и тебе, и мне хочется жизни не жвачной, духовной...

«Я не то хочу, да молчу» – снова потянуло меня уязвить ее – мужика, мол, тебе здорового с жеребьячей ялдой хочется, а не того, у которого рана сочится.

– Хочется и мне, – переждав приступ раздражения, заговорил я, – чего скрывать, лучшей доли, вольной воли, выучиться бы и тоже в столице иль где дыму и грязи меньше жить, чистую работу править. – Вздохнул. – Бога бы попросить об этом, да ведь богохульниками были и остались. Я уж забыл, с какого плеча крестятся, а ведь мать учила, на колени ставила, лбом в пол тыкала...

– А я, может, уже и молюсь.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

– Сектантка, что ли? С комсомольским значком на титьке! На щеку Любы неожиданно выкатилась слеза, зажглась, закровенела, засветилась на исходящем солнце. Люба слизнула слезу.

– До чего ж соленая!..

Я сразу же размяк, погладил Любу ладошкой по голове, прощения таким образом взыскаю.

– Редкие слезы всегда солонь, – почему-то угодливо получилось у меня.

Люба обняла колени и до глухих сумерек, быстро и густо наплывающих с полей, сидела не шевелясь. Я не смел ее тревожить. Мне первый раз пришло в голову, что чем человеку больше дано таланту, тела и души, тем ему труднее вековать среди людей и вообще тащить себя по этому неприветливому свету, зовущемуся отчего-то белым. Может, Люба предчувствует чего-то? Что наломает она дров в гражданской жизни, я и не сомневался: привыкла жить в родном коллективе, где она не то чтобы царила, обласкана была, всегда на виду, всем необходима, и лелеяли ее, привечали, принимали со всеми загогулинами уже подпорченного характера. Но какая женщина без загогулин?

– Пойдем, Люба, домой, – тронул я девушку за плечо. – Не хоча больше с тобой ругаться.

– Пойдем, пойдем. Ты ж без белья, еще простынешь. Когда мы миновали островок опытной станции, в глуби которой светилось, тусклое оконце, и птичка, разойдясь, уже соединила капельки, рассыпая их звонкими бусинками, начали спускаться к местечку, Люба, явно не желая слышать баян, не желая видеть праздничных людей, предложила:

– Давай постоим еще маленько.

– Давай постоим, чего ж.

– Вот и хорошо. – Люба коснулась моей щеки, задержала ладонь на шрамах. Хорошо было бы, если б характер твой еще смягчился, чтоб раны твои заросли, сердце ныть перестало... – будто молитву произнесла она и коснулась ладошкой головы: – Вот и волосы твои уж отросли, они мягкие у тебя.

– Раны уже заросли.

– Неправда ваша, – возразила Люба, – штанина желтая от гноя, свищи сочатся, осколки выходят, а ты на конюшне навильники ворочаешь. Если рану засоришь – сдохнуть можешь, и мне тебя жалко будет.

– Раз уж раньше не сдох. Между прочим, ты меня так раззадорила на соломе, что я и про рану забыл, мог бы и умереть на тебе.

– Прекрасная смерть для мужчины. Великий художник Рафаэль, читала я гдето, испустил дух подобным образом. Ладно. Довольно болтать глупости. Зайдем в санчасть, перевяжет там тебя моя подруга... Какой длинный вечер! Какой тревожный свет все еще прожигает небо. Уж не пожар ли где? Пойдем давай, пойдем.

Зловещим светом налитой, бритвенно острой полоской подрезало холмы, подровняло лес на горизонте. Свет не мерцал, не двигался. Он остывал, погружаясь в темную глубину. Еще не проснулись ночные птицы, еще звезды не разгорелись в полный накал, лишь мерцали в вышине бесцветными маковками перепутье меж тьмой и светом.

Мы шли на огни селенья, спустились к речке, и когда уж за речкой, на подъеме, вступили в коридор сомкнувшихся тополей, Люба притянула меня к себе, коротко и больно поцеловала, перевела дух, сказала: мол, очень хорошо, что я завтра рано утром уезжаю гнать лошадей в дальний совхоз и не приду ее провожать, – уж так жалки, так утомительны прощальные вздохи, выпрашивание адресов и фотокарточек, обет писать и помнить друг друга вечно... Зачем?

Я не спросил у Любы, откуда она узнала, что мне назначено поутру гнать лошадей; и когда позднее уже ночью я шел из санчасти в конюховку, так мне сделалось тоскливо, так жалко себя, что захотелось побыть одному. Я свернул в сад, долго и

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru
неподвижно лежал на остывающей в ночи земле, слушал, как притихает боль после перевязки раны, отходит сердце, защемленное в груди, вроде и поплакал, потому что, когда очнулся, лицо было влажное.

За речкой, в ярко освещенном помещении, в бывшей средней школе, по саду и в ограде сортировки все еще звучали песни – военный народ попрощался с войною.

От речки наплывал ознобный воздух, из глубины сада веяло густо перевитыми запахами осени.

Осень перевалила на исход.

Кони в нашу почтовую часть все прибывали. Военные ведомства, занимающиеся репарациями, не интересовались, есть ли конюшни, корм в данной части, им главное – рассовать трофейное имущество, снять с себя ответственность, переложить ее на другие погоны.

Нестроевики, брошенные на конюшню, не справлялись с работой, поили лошадей из ручья раз в день, а со временем перевели лошадок на самообслуживание – выгоняли их в чистое поле. Крестьянские парни жили при лошадях – в шалашах, среди лохмато колеблющейся кукурузы. К пастухам наведывались пастушки, иные там и закрепились. Арутюнян, Артюха Колотушкин и Горовой – все руководили наиболее боеспособным звеном нашего войска, распоряжались и лошадьми: подвозили дрова, солому, буряки, отвозили назем в поля, грузы по столовым и ближним деревням. Когда началось распределение лошадей по ближним колхозам и совхозам на зиму, наши начальники взялись именовать себя уполномоченными, подозревалось, пару лошадей, если не больше, наши уполномоченные прогнали мимо цели – уж больно вкусно ели и пили, пастухов с невестами угощали. С полей доносило запахи мясного варева. Маленько перепадало и нам: уполномоченные боялись Славы Каменщикова, умасливали его всячески.

За лошадьми приезжали представители совхозов и колхозов, порою даже сам голова прибывал, с подарками на подводе: самогон, хлеб, сало.

Из совхоза «Победа», куда приказано было отправить пятнадцать лошадей, не приехал никто, лишь пришла в часть телеграмма: «Нетерпением ждем». Кони меж тем начали партизанить, выели все вокруг вплоть до стерни на полях, добрались до опытной станции, до местечковых огородов и дворов, вели себя агрессивно оккупанты же!

На другой день после большой гулянки по Ольвии стоял стон и плач. На станцию уезжала большая партия демобилизованных, среди них отправлялись на Урал Коляша Хахалин с Женярой Белоусовой и Толя-якут со Стешей – в недостижимо далекую Якутию. Мечтали поехать на станцию провожать своих невест мои помощники, Ермила Головатый и Кирила Чириков. Но их непустили. С вечера получил на нас сухой паек наш строгий начальник – Слава Каменщиков, отменяя всяческие сантименты, майор Котлов погрози кулаком женихам, заодно и мне: «Если лошадей растеряете или пропьете – будет вам трибунал».

Солдаты как миленькие на рассвете погнали лошадок по пыльной дороге снова на запад. Главное было – поскорее миновать хутора и лес на истоке речки. Но, попавши в лес, лошади встали, начали кормиться травой, падалицами диких груш, яблок, даже желудями, будто уж и не кони они, а поросята или козлы. Опыт в обращении с лошадьми у меня уже накопился, я велел Ермиле и Кириле разжечь костерок, ложиться спать. И сам, Любовью Гавриловной измученный до ломоты в костях, собрался вздремнуть, пока табун наш подкопит сил для дальней шего пути.

И помощники мои совсем сникли – не видать им своих невест. Ермила и Кирила – парни деревенского, обстоятельного ума и склада, как припали каждый к своей девке, без охов и вздохов, без чтения литературы обработали материал – накачали девкам по брюху, однако дали перед этим слово, что распишутся. Но что она, та расписка, тот штампик в красноармейской книжке и бумажка под названием «Прошлюб», – иные бойцы-храбрецы тут же, по отбытии суженых, в жены записанных, выдирали страничку, чтоб не портился облик красноармейского до кумента, потому как все записи в книжке потом перекочают в паспорт, рвали ту страничку с регистрацией, пускали клочки бумаги по ветру.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

Узнав, что женихи наряжаются в «командировку» перед самой их отправкой, невесты Ермила и Кирилы посчитали это коварным обманом и происком, коих в последнее время по Ольвии случилось немало, собрались жаловаться командованию. Но какое тут командование? Демобилизованные ж, никому ж не принадлежат, кроме женихов. Ультиматум был: если женихи не явятся проводить суженых, не подтвердят прилюдно, что приедут к ним в качестве мужей, страдалицы покончат с собой – удавятся во дворе сортировки, на старой груше, – пусть полюбуются и командование, и хитрованы женихи, и майор Котлов из окошка кабинета на дела свои, пусть знают, до какой крайности они довели честных девушек, и пусть их жертвы предостерегут доверчивых подруг...

Я всю дорогу измывался над женихами. Они сначала похохатывали, потом вяло отлаивались, зло на конях сносили. У костерка они сидели смиренные, после похмелюги лица у них отекали, ели они вяло, а я подзуживал: если они плохо будут кушать, вовсе обессилеют, малосильные мужья кому нужны. И стих Коляши Хахалина припомнил кстати: «С работой колотишься, гретишь – торопишься, ешь давишься, хрен когда поправишься». Ответом мне было молчаливо-печальные улыбки парней. Костер нагорел, Ермила и Кирила накатали на угли картошек; конь, румынский видать, подкрался, хватить горячую картошку из костра. Работяги мои сгребли по хворостине и так лупили коня, гоня его по чаще, что он человеческим голосом, по-русски закричал: «Бля буду, больше воровать не стану!»

Я сказал парням, что нехорошо так: животное не виновато в том, что они невест не проводили. Парни мне в ответ: «Твоя зазноба, Любовь Гавриловна преподобная, тоже отбывает домой, и тоже небось сердце болит?» Я им заливаю, что поручил свою зазнобу Коляше Хахалину – с ним никто не пропадет, достал из продуктового мешка бутылку с самогоном, налил им и себе в кружки, брякнул: «Я себе в „Победе“ невесту сдобуду, если табун на ход направите, может, отпущу вас с Богом». Парни громко заверили меня, что шкуры с оккупантов спустят, но заставят их уважать дисциплину и ходить строем.

Русские парни, воевавшие в пехоте, не по разу раненные, Ермила и Кирила, в отличие от меня, и к жизни стремились основательной. Соединятся вот со своими сужеными и дальше будут идти по Богом им определенному пути, заниматься крестьянской работой, ребятишек творить, если, конечно, не уморят их, победителей, голодом, не поймут в поле с колосками, с ведром мерзлой картошки и не сгноят в строговоспитательных заведениях спасенного ими отечества.

Кони, пришедшие из-за границы своим ходом, дисциплину знали, к табуну привыкли и, подкормившись в лесу, трусили и трусили себе, по-солдатски, на ходу мародерничали – где с межи, где в перелесках травку состригут, колосок, метелку овса. К полудню была завершена большая часть пути, нарисованного мне на казенной бумаге с грифом и номером нашей почтовой части. Документы на лошадей, мои документы и всякие сопроводилки были в планшете, уделенном мне майором Котловым. Планшетка, надетая через плечо, била меня по боку, тыкалась в бедро. Жеребец мой возил, видать, командира лихого и форсистого, хлопанье чужой планшетки удостоверяло его, что и сейчас на нем гарцует человек немалого чина...

Достигнув населенного пункта, жеребец снова приосанился, глаза его налились диким пламенем. Приосанился и я. Перегон коней оказался не таким уж трудным делом. Довольный собою, радый за своих помощников, я улыбался в неотросшие усы, вспоминая, как Ермила и Кирила взгромоздили на свои хребты седла, бегом хватили в обратный путь, а я еще и свистнул им вослед.

Кони рысцой и, как мне показалось, охотно миновали в прах разбитое селение. Я еще раз дал лошадям напиться и покормиться на околице мертвого селения, сам маленько подкрепился, настороженно озираясь по сторонам, – в таких вот развалинах, среди ломи кирпичей и головешек, горелых печных труб, хат со спаленными крышами, с выбитыми окнами, сорванными дверьми, подходяще скрываться братьям самостийщикам.

Села, как и люди, оживали от войны по-разному. Иное село тут же после отступления оккупантов начинало струить дымки из печей, возле побитого жилья уже сложены в кучу мало битые кирпичи, древесная ломь на топливо, горелые доски, выпрямленные гвозди и скобы, угольники стекла. Кто мог, копал землянки под жильем. Чумазые ребятишки просили у солдат хлеба, из сожженного бурьяна выметывался петух, преследуя курицу, – единственная пара, уцелевшая в селе. Петух непременно настигал убегающую курицу и, справив свое петушье дело,

привстав на цыпочки, упоенно орал: «Вот так, братья по разуму, надо возобновлять живое поголовье, вот так надлежит порушенную жизнь восстанавливать!»

У этого побитого села ни улицы, ни таблички, хоть бы угольком написанной, ни дымка из печки, ни голоса с подворий. Но жизнь в нем угадывалась, пряталась она в зарослях бурьяна, в одичавших садах и пустых огородах, в дорожках едва начавшихся и тут же смолкающих.

Одиночный выстрел, затем вялая пулеметная очередь, донесшаяся с полей, добавили хода табуна – коняги-оккупанты многое уже испытали за войну, иные побывали в пристежках и обозах. Одна лошадь заприхрамывала, сбилась с хода и, как ни старалась наддать, отставала от табуна и уже издали поддала обреченный голос.

Начались полуубранные, где и вовсе не убранные поля. Кони снова взбесились, не обращали внимания на плеть, которой я их лупил, на отборнейшие матюки. «Они ж не русские, они ж из-за границы, нашего языка не понимают», заметил еще Кирила. «Успели парни к проводинам или нет?» – мимолетно подумалось мне. Вплыл табун в поле, погрузился в овсы, кони опять вели себя по-мародерски – выдирали стебли вместе с подгнившими корешками. Черными снарядами выметывались из-под копыт коней тетерева, с клетотом вздымались с земли конюки, отяжелевшие от мышатины, табуны голубей и воронья растревоженно закружились над полем, где животные, не разумеющие моего языка, беспощадно истребляли совхозное добро, и если бы в помощь мне не прибегло несколько увеченных войною мужиков, не знаю, что бы я и делал...

Нахватавшись в дороге пыли, в поле – овса, лошади, почуяв жилье, сами свернули к длинным саманным строениям с неряшливо залатанными пробоинами. На задах конюшни, которую я определил по кучам свежего назьма и по истолченной копытами земле, стояли обгорелые, упочиненные жестью и вновь выдолбленные из осин колоды, наполненные водой. Несколько строений маячило на невысоком, выдутом ветрами холме. Среди горелых, кое-где и кое-как залатанных досками построек красовался барак, собранный из деревянного барахла, со старыми и новыми рамами. Должно быть, общежитие. Редкие столбы с полуобгорелыми проводами, полуочищенные от коры свежие бревна, пруты недавних посадок в засохших лунках, полуразбитая техника. В центре селения осанисто, даже с вызовом громоздился новый комбайн, и возле него возились, чего-то закручивали, били молотками два парня в военном изрядно изношенном обмундировании. Вот, пожалуй, весь пейзаж совхоза «Победа», мимоходно охваченный взглядом.

Однако поля вокруг были вспаханы под зябь, пыльной зеленью светились озимые на лоскутках пашен. Вызревший хлеб, овсы, кукуруза, подсолнечники где убраны, где и не тронуты еще. Много не убрано картошки, сахарной свеклы. На скошенных полях паслось стадо коров, овец и коз, оживляя пестротой осенний пейзаж. Среди селения, в глубоко разрытой, полувисокой луже, лежали кабан и чушка, о чем-то умиротворенно похрюкивали. Ключьями бумаги белели курицы, над наново срубленной в центре селения избой струился дымок, наносило пареной капустой – значит, столовая. А где столовая, там и контора, решил я. Из конторы, прихрамывая и улыбаясь, спешил мне навстречу человек в галстуке и старой шляпе – директор совхоза, Вадим Петрович Барышников, бывший командир стрелкового батальона, – знал я о нем от наших командиров. Войдя в середину табуна лошадей, сгрудившихся вокруг колод, он теребил их за гривы, похлопывал по шеям, что-то высказывал им почти с рыданием, затем бросился обнимать меня, будто я пригнал ему в подарок личных рысаков.

– Н-ну, парень! Н-ну, парень! Ты и не представляешь, чего сотворил! Ты же урожай наш спас! Нас спас! Да что толковать? – А сам, будто веслом загребая ногою, спешил уже к соседнему крыльцу, громко звал: – Лара! Лара! Ты посмотри, посмотри, что тут творится!

С крылечка спускалась миловидная женщина с усталым, загорелым до черноты лицом.

– Лариса! – протянула она мне руку. – Жена этого счастливого начальника, по совместительству агроном, счетовод и секретарь комсомольской организации. Партийной у нас пока нет. – Вздохнула: – Ох, как многого у нас еще нет... Пойдемте.

– Гостя накормить, напоить и вообще... – распоряжался начальник нам вслед.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

Мы пошли к стоящему на отшибе дому, в одной половине которого жила семья директора совхоза из трех человек: Вадима Петровича, Ларисы и голозадного карапуза. Он ходил возле скамейки и ладошкой прилепывал свежее собственное добро, чтоб никуда не делось.

– Воло-о-дя-а! – вскрикнула Лариса и бросилась к ребенку. – Ну как не стыдно?! – Володя, сияя глазенками, протянул к матери руки. Она подхватила его под мышки и, держа в отдалении от себя, смущенно говорила: – Извините нас! – унесла его за занавеску и, брякая рукомойником, ворковала: – Дядя вон приехал, лошадок привел, а ты что натворил? Какими подарками его встретил?!

Малый повизгивал от щекочущей воды, радовался тому, что мама пришла, и неожиданно произнес: «Тя-тя!»

– Дядя, дядя, мое золотко, радость моя, мученье мое, – вытерев пеленкой, клюнула Лариса малого в заднюшку и, бросив мне на колени пеленку, подала свое сокровище: – Подержите этого разбойника, а то он не даст мне заняться делом. – Она сразу оживилась, помолодела лицом и, отринув усталость, радовалась вслух: – Это он третье слово сказал! Говорил только «мама», «папа», теперь вот и «дядя»! У-ух ты, умница моя! Ух ты, ушкуйник сибирский! – забирая у меня ребенка, чмокала его всюду, наговаривала Лариса, водворяя малого в неуклюжую деревянную качалку. Малыш ревел во весь богатырский голос, тянул руки к маме.

Я выковырял ревуна из качалки, поглядел на него и сказал, как командир Арутюнов: «Прекратить!» Малец перестал плакать, прижался ко мне. Конечно же ему хотелось к матери, но и дядя, на худой конец, ничего. Поскрипывая пустышкой, Вовка приник щекой к моей груди. Я никогда еще не держал детей на руках и вроде как обомлел. А мальчик усмирился и начал задремывать. Я слышал, как толчками бьется мое сердце, и подумал: это мешает дитю заснуть. А может, наоборот, привыкший к груди отца, к биению его сердца, малыш чувствовал себя спокойней. Я начал ощущать себя так, будто принял дитя в себя, во мне пробуждалось неведомое доселе томление и умилительность – так вот оно как! Внимая доверчивой теплоте малыша, я плохо слышал Ларису, хлопотавшую у плиты за дощатой заборкой. А она рассказывала мне историю совхоза «Победа» и только начавшую историю семьи и жизни Барышниковых. Совхоз «Победа» – типичное восстанавливающееся после войны и разрухи хозяйство. Все почти с нуля, все требует рук, силы, хозяйственной смекалки. А где ее набраться вчерашнему офицеру и недавней студентке? Помощи пока ниоткуда никакой. Вот первая ощутимая подмога – лошади. Главное, нет людей. Скота мало. Земли запущены. Машинный парк – старье. Сдали в прошлом году первый урожай свеклы – купили комбайн; у военных выменяли на мясо автомашину.

Вадим Петрович по образованию агроном, но не законченный – с третьего курса сельхозинститута призвали на войну, дважды ранен, в звании старшего лейтенанта демобилизовался по ранениям в 1944 году и направлен на восстановление хозяйства в западные, отвоеванные у врага, районы. Лариса родом из Омска. Папа – речной капитан, мама – учительница средней школы, преподает русский и литературу. Лариса тоже училась на агронома, их институт шефствовал над госпиталем, где лечился Вадим Петрович. Там и скрестились их пути, и дошефствовала она до разбойника этого горластого.

– Пал боец? Положите его, положите. Конечно, очень трудно, – продолжала Лариса разговор, занимаясь у плиты, – но духом люди не падают, надеются на лучшее. Недавно целый отряд девушек прислали, репрессированных. Угоняли их в Германию. Домой отчего-то пока не пускают, да у многих никакого дома и нет потерялись они в мире. А девушки хорошие, работают безотказно, только очень уж они запуганы. А красавицы, как на подбор! Это ж надо, как фашисты умели сортировать людей! Для тяжелых работ, для оборонного дела, для утех и забав все расписано, всему нормы и стандарты определены! Хозяйство, конечно, восстановим, жизнь какую-никакую наладим. Но как с девушками-то? Кому они нужны с переломанными-то судьбами, где-то уже и расхристанные. Вечер настанет, запоют в красном уголке, за стенкой, – хоть в лес убегай...

Лариса еще не успела справиться с ужином, как появилась помощница.

– Меня Вадим Петрович послал, – спинывая с ног старые солдатские сапоги возле порога, объявила она. Вовка, заслышав голос, тут же воспрянул ото сна, сел в качалке и заорал с новой силой. Гостья кинулась к нему, ссылая на ходу: – Да сиротиночка ты моя! Да лапонька милая! Бросили тебя родители, бросили! И ты их

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

брось, когда вырастешь! – Наговаривая, она утирала малому слезы, осыпала его звонкими поцелуями.

Малый обхватил девушку за шею, прижался к ней. Лариса бегала с посудой из кухни к столу, раздумывая, в белом платке, и кивала мне – слышали, мол, чего говорит наша няня. Вовка-подхалим тут же взял на слух и выдал четвертое слово: «Ня-ня!»

– Няня, вовочка, няня, мой миленочек! – подхватила девушка счастливым голосом.

– Изабелла, познакомься с гостем.

Я бросил в таз недокурную сигарку, отмахнул дым к двери и напряженно ждал. Девушка с ребенком на руках приблизилась ко мне. Конечно, я не на Луне рос, не в глухом скиту жил, в небольшом российском городке с узловой железнодорожной станцией зимогорил. Туда на стройку стекался пролетарский на род отовсюду – домну возводить, и уже выработал племя не племя, расу не расу, но народишко крепкой породы, иначе ему было бы не выжить в нашей стране, не заломать фашизм, может, и не шибко выдающийся умом народ получился, но от пестроты наций красоты и стати набрался. Петляя по земле после фронта и госпиталей, вращаясь, так сказать, в массах, немало повидал я красивых женщин, хотя бы на той же Кубани любимая моя медсестра была не последнего ряда, одно время даже самой красивой на всем белом свете казалась. Но то, что я увидел!..

В древности правоверные мусульмане в некоторых странах падали ниц и не смели поднять лица до тех пор, пока не проедет мимо высоко на лошади сидящий ясноликий султан или падишах. Кто смел поднять лицо, тому тут же отрубали голову: не смотри на солнце – ослепнешь!

Это я о госте, об Изабелле, на бумаге речь веду, в натуре-то я тогда онемел, усох и чуть от удивления не сдох...

Она приблизилась ко мне, церемонно присела, вроде бы книксен сделала, я пребывал в столбняке и не сразу ответил на приветствие, для себя неожиданно сунул ей руку и почувствовал маленькую ее, беспокойную, от земляной работы шершавую ладонь. Спекшиеся губы девушки чем-то обесцвечены, тонкая кожа лица иссушена, ныне-то я знаю – пудрой, косметикой, – голова повязана сиреневым лоскутом, концы его обвиты вокруг шеи. Сосущая печаль исходила от увядшего лица, подчеркнутого небрежной сиреневой повязкой с почти стершимися золотисты ми скобочками – лоскуту надлежало украсить это блеклое, в печаль погруженное существо. Девушка не хотела, чтоб ее пристально рассматривали, загородилась Вовкой, с хохотом подбрасывала его: «Воты ка-ак! Воты ка-а-ак!» Вовка взвизгивал от страха и восторга, хватался за нянькин нарядный лоскут, но она ловко уклонялась от рук мальчика.

– Кавалер наш с разбором! – выглянув из-за загородки, улыбнулась Лариса. – Не всем руки подает! Предпочитает Беллочку, засыпает под ее песни, песни же у нее, как она утверждает, – режимные. Ну да ничего. Скоро парни демобилизуются, будет и на нашей бедной улице праздник! Будет и у нас много детей! Построим детсад, определим туда работать нашу няню.

Вадим Петрович, шумно, с извинениями ввалившийся в дом, за столом угощал меня буряковой самогонкой, гостью – тоже, говорил и говорил о совхозных делах, перескакивал и на другие темы, на судьбы людей, страны, возрождение мирной жизни – главная это сейчас забота, и разговор везде и всюду одинаковый.

– А что, дорогой наш гость, – захмелев, поинтересовался Вадим Петрович, скоро ли твоя демобилизация?

Я ответил – вот-вот. Престарелые воины, женщины и необходимые народному хозяйству специалисты – первая очередь. Во вторую пойдут те, у кого три ранения и чей возраст вышел из армейских норм, да и другого разного люда много подпадает под вторую очередь, потом и третья подоспеет, и четвертая чего ж такую армию зазря кормить? Выпивка и рассуждения мои настолько смелыми меня сделали и уверенность такую вселили в меня, что я уж открыто глядел на Изабеллу, даже предложил выпить за гостью.

– Ой, давайте, давайте! – восторженно воскликнула хозяйка. – Она у нас отходит помаленьку.

Я не вник, от чего Изабелла отходит, да и зачем ей куда-то и от чего-то отходить? Перед таким дивом только и остается вздохнуть о несовершенстве слова перед природой: слову-то писчому тысячи лет, природе ж и творениям ее миллионы.

Всякая прекрасная женщина прекрасна прежде всего глазами – этому женскому «струменту» дано не только светиться на лице, но и проникать в тайну, которой часто и сами-то женщины пугаются, а уж нашему брату мужику, верхогляду, только и остается – отвести глаза в сторону, чтоб не ожечься о встречный взгляд. Глаза Изабеллы, будто на египетском древнем рисунке, унесены почти на щеки, вроде как отстранены от лица. Темный обод глазниц, прячущий глаза взатень, да еще и цвет глаз сумеречного отлива, лампадным желтым светом подсвеченных из глубины, придавали им запредельное значение. Такие глаза бывают только у колдуний. Бархатные шнурки черных, от висков начинающихся бровей вытягивали и не могли вытянуть глаза на положенное место. Нос с позверушечьи чуткими ноздрями, темнеющий пушок над губой, вызывающе вздернутый подбородок со вмятинкой – все как бы рассеяно, разбросано и присутствовало на лице только потому, что согласно природе обязано здесь присутствовать. В просверке молнии, не сгорая, не вздрагивая ресницами, отпечатается в моей памяти этот незавершенный лик вроде как от ацтеков или инков дошедшего или, уж точнее, долетевшего до нас создания, на котором лежало то же, как у древнего народа, покорное ожидание беды и согласие принять ее безропотно.

– Значит, тебя три раза стукнуло? – услышал я Вадима Петровича и очнулся. – Многовато. Такой молодой. Но мы, старые вояки, жилистые! Выдюжим! Устоим! Поработаем на благо отечества нашего. Ты, дорогой, вот о чем подумай: как демобилизуешься, подговорил бы пяток товарищей, пусть и без профессии, но с руками, с ногами, – и к нам! А?! Мы быстренько вас на механизаторов и полеводов выучим. Сейчас каждому военному скитальцу важно место свое в жизни обрести. Оженитесь. Вот хотя бы Беллочка наша – работы не боится, детей любит. Ты бы пошла за него замуж? – спросил вдруг Вадим Петрович.

– Я хоть за черта, хоть за дьявола! – с иступлением произнесла Изабелла.

– Ну, Беллочка, зачем же за дьявола-то? За кого попало мы тебя не отдадим! – улыбнулась Лариса, стараясь снять неловкость.

– Ко мне фашисты ночью приходят.

– Все еще!.. – ужаснулась Лариса и плотнее прижала Вовку, присосавшегося к прикрытой платочком груди, посапывающего в ласковом материнском тепле и уюте.

– Да! – еще громче и резче отозвалась Изабелла, поискала глазами стакан с недопитой самогонкой, схватила его и крупными глотками, словно воду, выпила содержимое до дна и тут же со стоном откинулась на стену.

«Видали?!» – взглядом показала хозяйка на Изабеллу и покачала головой.

– Ты все-таки подумай над моим предложением, – гнул свою линию Вадим Петрович, тоже изо всех сил стараясь рассеять неловкость. – Зарботки у нас постепенно стабилизируются, спецовку выхлопочем, общежитие соорудим, но как семьей обзаведетесь, даю слово коммуниста, тут же построим дом, выделим землю.

– Налейте мне еще! – дернулась, отлипла от стены гостья.

– Беллочка! Не надо бы тебе больше, – ласково попросила Лариса и понесла Вовку в качалку. – Дурно будет...

– Еще хочу!

Вадим Петрович, подавив вздох, плеснул в стакан Изабеллы самогонки и в наши кружки ленил по глоточку.

– Тебе, Вадим Петрович, тоже довольно, – негромко, но повелительно произнесла Лариса, задергивая легкую занавеску над Вовкиной качалкой. Завтра много работы: документы на лошадей оформлять, сбрую где-то доставать или шить, телеги налаживать, волокуши ли для начала в лесу нарубить...

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

И тут все время вертевшийся вопрос: кого же, кого же напоминают мне Лариса и Вадим Петрович? – разом разрешился: супругов Мироновых, незабвенных Ивана Кузмича и Василису Егоровну – обитателей и защитников Белогорской крепости, – я совсем-совсем недавно перечитывал «Капитанскую дочку».

– Ничего, ничего, Ларочка! Все найдем, все изладим, – потирая руки, отвечивал Вадим Петрович, настороженно следя за Изабеллой, которая, не дожидаясь компании, высосала из стакана самогонку и снова ничем не закусила, снова откинулась затылком к стене, погружаясь в бездонное свое одиночество.

– А вы что так мало ели? – вернувшись к столу, спросила меня Лариса. Правда, разносолы у нас... мясо случается, но рыбы нет. А я так люблю рыбку привыкла. Папа капитанил на Иртыше, дома у нас всегда была разная рыба.

– Да уж... Но ничего, ничего, пруд выкопаем, карпов или карасей, на худой конец, разведем.

– Я петь хочу! – встряла в разговор Изабелла.

– Ну и попой, попой, раз хочется. Только не очень громко, Вова уснул. Ох уж эти песни ваши, – со вздохом молвила Лариса. – Лучше б плакали...

Изабелла, прежде чем запеть, демонстративно выдернула заколку, и сиреневая материя опала на ее плечи, обнажив шею с голубыми жилками, голову с едва отросшим, воронью отливающим волосом. Не знала Изабелла, что прическа ее с остро вываченными клочками волос – прическа невольника – лет через тридцать делается модной и русские дамы и девки, не ведая, чего бы еще с собой сотворить, чем себя выделить, сделаются похожими на недавно выпущенных из тюрьмы зечек.

Изабелла же демонстрировала безобразие свое, совершенное над нею унижение. Уже на наших контрольных пунктах, борясь со швивостью, обкорнали всех невольниц, «из оттуда» возвращающихся, мстили им за то, что они служили врагу, развлекали в бардаках и казармах гитлеровских молодцов в то время, когда советское воинство истекало по окопам и землянкам спермой от онанизма. Уж унижать человека – так унижать: сперва уничтожить его оболочку, потом и до души добраться. Лесопильное племя гнуло к земле, растапывало всякие зачатки человеческого достоинства, с особым сладострастием терзало оно беспомощных, несчастных женщин. С каким нетерпением девчонки рвались «домой» из неволи, хотя многие из них и не знали, уцелел ли дом, остался ли кто в этом доме или хотя бы на этом свете? Но Родина-то, край любимый, люди, русские, украинские, кавказские, – они же есть, и разве они не пожалеют, не простят ни в чем не повинных девчушек, ведь не они бросали армию и Родину, это армия и Родина бросила их на произвол судьбы? Чужеземцы-оккупанты, творя вселюдное зло на завоеванных землях, делали с людьми все, что хотели.

Но на пути к дому встали стеной так называемые органы, где орудовали орлы похлеще гестаповских костоломов. Они раздевали девчушек – для дезинфекции и унижительного осмотра, вытряхивали вещички, снимали что поценней, дешевенькие украшения, безделушки растапывали. Врачи и санитары, заранее к этим кадрам враждебно настроенные, бранили их, пинали, гоняли, оскорбляли, после осмотра куда-то уводили больных венерическими болезнями, слухи ходили расстреливали.

Прошедшие сквозь жалости не знающие контроли и проверки, уже в советских пунктах, на казенных нарах, девчонки «обслуживали» родных хозяев. Сламывались, кончали жизнь под колесами поездов или в петле, но большей частью искупали «вину» трудом, и ладно, если под началом такого вот добряка, как Вадим Петрович. А если энкавэдэшное отродье, привыкшее мясничать в трибуналах, тюрьмах да лагерях, сражаться в цензурах, станет руководить «бывшими», перевоспитывать их? Вадим Петрович и Лариса всячески избегали опасных тем в разговоре, но невозможно легко и быстро излечить больную психику недавних детей, срastить изломанные судьбы.

– Песня тоски по родине. Автор неизвестен, – объявила Изабелла, будто со сцены, и, завывая в конце фраз, речитативом начала выпевать свою боль и ненависть, стуча кулаком по столу:

Где твоя любимая, товарищ?
На чужой томится стороне.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru
Там теперь немецкие солдаты
Ходят по родной твоей земле.

И твоя любимая за марку
Куплена и в дом отвезена.
Стряпкой, поломойкой иль свинаркой
Трудится с утра и дотемна.

Рыжая, озлобленная Грета
Бьет хлыстом, кто под руку попал,
По глазам, которые ты где-то
И когда-то жарко целовал.

Пусть святая месть тебя тревожит,
Не дает покоя на пути.
Немца ты обязан уничтожить!
Немцу ты обязан отомстить!

Примитивная, душу рвущая самодеятельная поэзия невольников. Внемлет ли ей кто? Слышит ли кровью и слезами умытого брата своего? Не слышат! Не внемлют! Исполнительница с мокрыми губами, пьяные слезы размазывающая по лицу, – это вот кому предназначено? К кому обращено?! Да, да, и ко мне, и ко всем нам, умеющим легко друг друга предавать и так же легко забывать предательство.

Лариса не выдержала, бросилась обнимать, целовать девушку:

– Бедненькая моя! Бедненькая моя! Изабелла жалости не принимала, она вроде как стервенела и, уже беснуясь, с вызовом выкрикивала еще одно творение, на мотив баллады «Когда я на почте служил ямщиком». Уронив голову на стол, Изабелла выкашливала: «Поганый тот фриц мое тело терзал... он грудь мою белую грыз и кусал и все нехорошее делал».

Долго содрогалась худенькая спина девушки после того, как она утихла. Так в госпиталях утихали контуженые после припадков.

Вадим Петрович, израненный вояка, задрал лицо, глядел в потолок. Лариса гладила песнопевницу по голове, вела ее к рукомойнику и, умывая, наговаривала: «Не пей больше, моя хорошая, не пей, не терзай свое израненное сердечко».

Отрезвевшая, погасшая Изабелла помогала Ларисе убирать со стола, старушечьей, подшибленной походкой бродила по избе, складывала посуду в новый цинковый таз.

– Ну вот и отужинали. Спасибо, Белла! Спасибо, Лара! – Вадим Петрович поднялся из-за стола и направился к кровати, отделенной занавеской. Склонившись к Вовке, коснулся его личика губами.

Лариса стелила мне постель на полу, в углу возле окна, поясняя:

– Здесь воздух свежее – нажарили печку-то, – и стеснительно промолвила, чтоб укрылся я своей шинелью со вдернутой в нее телогрейкой – больше нечем, и все время с беспокойством взглядывала в сторону Изабеллы, напряженно ждала, когда она кончит мыть посуду. – Беллочка! – не выдержала Лариса. – Ты к себе пойдешь?

– Нет! – резко отозвалась гостья. – Я боюсь темноты.

– Рядом же. Гость проводит, если хочешь.

– Нет! – еще резче возразила Изабелла. – Я хоть с кем боюсь темноты.

– Н-ну, хорошо, хорошо. Вот тебе шинель Вадима Петровича, Вовкино одеялко и половичок. Стелись, где тебе удобней. Командир мой уже готов, и я умыкалась. – Уже за занавеской, пошуршав одеждой, она нежно добавила, укатываясь за спину своего «командира»: – Только донесет голову до подушки и готов. Ох-хо-хо! Ну, спокойной вам ночи. А Вовка-то разметался, сопит. Муужи-ык!..

В незанавешенное окно струилась разжиженная темнота. Изабелла, видел я, приосев ниже окна, снимала через голову кофточку, спускала юбку, вот опала, будто узенький ивовый листок, в душный омут избы.

Сделалось так тихо, что стало слышно, как Вовка во сне терзает пустышку, как вкусно сопит носом Вадим Петрович. Скоро к нему подсоединилось деликатное, в лад вторящее дыхание Ларисы.

– Солда-ат! – послышалось из темноты. – Ты почему меня боишься? – Я притаился, соображая, отвечать или не отвечать. – Не бойся. Я не заразная. Всех заразных отсеяли, лечить погнали. Может, и уничтожили... Солда-ат! Ты не спишь?

А, батюшки! А, матушки! Что ж делать-то? Вот искушение так уж искушение! Я потянулся к брюкам, за кисетом. И тут же от бокового окна птичкой перелетела ко мне тонкая фигурка, приткнулась рядом и так больно притиснулась коленкой к незасыхающей ране на бедре, что я невольно дернулся и замычал от боли.

– Что? – не поняла Изабелла и вдруг спохватилась: – Ой, прости. Прости, пожалуйста! – припала к моей щеке губами, стала торопливо ее целовать. Прости! – и суетилась рукою по бедру, нащупала рану, взялась ее гладить, все плотнее прикикая ко мне, и будто в бреду что-то повторяла. Я притиснул ее лицо к груди, в которой гулко билось мое сердце, и, не владея уже собой, вроде бы успокаивал ее иль себя:

– Что ты? Что ты? – а сам искал губами ее губы, и, когда опалился ее ртом, со мной произошла мужская слабость. Я «поплыл», как говорится среди мужиков. Тело мое, натянутое струной, разом расслабилось. Я почувствовал мокро, и тут же все во мне увяло.

– Что ж ты волнуешься-то? Зачем торопишься? Давай полежим, покурим, и все будет хорошо, все будет хорошо-о, – гладила и успокаивала меня Изабелла. А я отдалялся и от нее, и от себя под этот шепот. Я не просто уснул, я улетел в уютное, птичьим пухом выстеленное гнездо.

Проснулся от солнца, бьющего мне в лицо через стекла окна. В доме никогоникого, даже Вовки, не было. Я вздохнул с облегчением и поспешил к умывальнику. На столе, под полотенцем, был накрыт для меня завтрак. Мухи прикикли к теплой кастрюле и заснули. Толченные с молоком картошки и бараньи ребрышки я слопал, даже не присев на табуретку.

Сдача лошадей затянута, хотя у пленных лошадей в табличках значились всего лишь номера, пол, да и эти краткие биографии были писаны мной и Славой Каменщиковым. Коням предстояло не только обрести хозяев, но также получить имена, конюшню, право на гражданство в совхозе «Победа».

Можно было бы и домой ехать, но Вадим Петрович все еще не терял надежды сагитировать меня и через мое посредничество моих товарищей в совхоз. Взаялся показывать земли совхоза, хозяйство, высказывался о больших перспективах. Если по совести, то у него пока одни перспективы и были. Воинские части на первых порах забили колья, помогли подготовиться к зиме и к посевной. Но первый, удавшийся, урожай убирать было некому и нечем.

Девчата, одетые большей частью в бывшее в употреблении солдатское обмундирование, трофейное и отечественное, глухо повязанные платками, шарфиками, которые в пилотках, которые в мятых зимних шапках, работали на бурьяках. Некоторые местные сахарозаводы делали сахар и при немцах, делают его без остановки и сейчас. Они охотно принимали на переработку сахарную свеклу, хорошо за нее платили. Пока это была главная статья дохода в совхозе «Победа». Вадим Петрович нахвалиться не мог своей женой Ларисой, по весне под сказавшей руководством хозяйства как можно больше земель отвести под бурьяки.

Выводками сидя вокруг костерков, девушки обрезали свеклу, в костерках пеклись картошки и бурьяки. Одни труженицы тащили за космы плод из земли и бросали его в бурты, другие споро обсекали свеклу, сбрасывали бурьяки в кучу, ботву кидали в быками запряженную арбу, объезжающую поля, – на корм скоту.

Вадим Петрович ездить на лошади без седла не умел, отбив зад, переводил дух у костерков, беседовал с народом, вздыхал возле нетронутых и почти уже всюду осыпавшихся хлебов, но бодрил себя и свои кадры: «Ничего, ничего, было бы что убирать».

Два пожилых украинца вязали березовые волокуши. Березки привезли они из лесу еще по росе и сообщили директору, что видели в дубраве пьяных вооруженных людей. Одичавшие от безделья и самогонки, чужаки привязывались к совхозным рабочим, угрожали расправой. Вадим Петрович встревожился, но мужиков успокоил: мало ли сейчас шляется по земле всякого люда с оружием, отряды самообороны, может, разнуздавшаяся какая воинская часть, может, и бендеровцы, отжатые войсками, с соседних западных лесов. Доходили слухи о налетах на села. Но слухи всегда были и будут, агентство ОБС – «одна баба сказала» – работало и работает безотказно.

Во время обеда Вадим Петрович предостерег меня, чтоб, если вечер застигнет в пути, ночевал в каком-нибудь укрытии и не двигался в потемках. И области обещали прислать в совхоз вооруженную охрану – остерегать хозяйство; директор надеялся, что та команда и урожай убрать поможет, и красавиц здешних поразвлечет. В том, что девчата тут были на подбор, я успел убедиться. Изабелла, кроме диковатости, пожалуй, ничем не выделялась среди них, разве что черкесской или эллинской породой, потому как выяснилось, что родом она с Южной Украины, а там кто только не обретался: и греки, и сербы, и татары, и молдаване, и бог знает кто еще. Молодость и угнетенную, но не сгубленную до конца красоту девчат не могла скрыть даже грязная, разномастная одежда и чумазые от «печенок» лица. Но при «чужих» держались девушки отчужденно и неприветливо, из мужчин одного только Вадима Петровича и знать хотели.

Есть у великого трагического художника Михаила Савицкого, прошедшего весь ад фашистских концлагерей, страшная картина «Отбор»: лежат кругом голые застреленные женщины. Живые, тоже нагие, в кучу сбившиеся девушки с ужасом смотрят на мертвых и жмутся друг к другу. На красавиц, плотоядно пялясь, скалятся фашисты с автоматами. Эти вот девчата, и Изабелла тоже, прошедшие подобный «отбор», конечно же, воспринимали человеческую мораль, веру в Бога и любовь к ближнему и доверие иначе, чем все остальные люди. Что же творилось под грязными солдатскими пилотками, под арестантскими суконными шапками в голосовозным рабочим, угрожали расправой. Вадим Петрович встревожился, но мужиков успокоил: мало ли сейчас шляется по земле всякого люда с оружием, отряды самообороны, может, разнуздавшаяся какая воинская часть, может, и бендеровцы, отжатые войсками, с соседних западных лесов. Доходили слухи о налетах на села. Но слухи всегда были и будут, агентство ОБС – «одна баба сказала» – работало и работает безотказно.

Во время обеда Вадим Петрович предостерег меня, чтоб, если вечер застигнет в пути, ночевал в каком-нибудь укрытии и не двигался в потемках. И области обещали прислать в совхоз вооруженную охрану – остерегать хозяйство; директор надеялся, что та команда и урожай убрать поможет, и красавиц здешних поразвлечет. В том, что девчата тут были на подбор, я успел убедиться. Изабелла, кроме диковатости, пожалуй, ничем не выделялась среди них, разве что черкесской или эллинской породой, потому как выяснилось, что родом она с Южной Украины, а там кто только не обретался: и греки, и сербы, и татары, и молдаване, и бог знает кто еще. Молодость и угнетенную, но не сгубленную до конца красоту девчат не могла скрыть даже грязная, разномастная одежда и чумазые от «печенок» лица. Но при «чужих» держались девушки отчужденно и неприветливо, из мужчин одного только Вадима Петровича и знать хотели.

Есть у великого трагического художника Михаила Савицкого, прошедшего весь ад фашистских концлагерей, страшная картина «Отбор»: лежат кругом голые застреленные женщины. Живые, тоже нагие, в кучу сбившиеся девушки с ужасом смотрят на мертвых и жмутся друг к другу. На красавиц, плотоядно пялясь, скалятся фашисты с автоматами. Эти вот девчата, и Изабелла тоже, прошедшие подобный «отбор», конечно же, воспринимали человеческую мораль, веру в Бога и любовь к ближнему и доверие иначе, чем все остальные люди. Что же творилось под грязными солдатскими пилотками, под арестантскими суконными шапками в головах этих девушек? Хочу, чтоб все, кто забыл ужасы войны, кто без содрогания взирает на дела вновь возрождающегося немецкого и российского фашизма, тоже почаще смотрели бы на полотна Савицкого из лагерного цикла и попристальней вглядывались в картину «Отбор».

– Ты чем-то обидел Беллу? – отводя взгляд, спросил у меня Вадим Петрович за обедом.

– Нет, – поспешно отозвался я.

– Вот и хорошо. Вот и молодец. Не надо их обижать, они уже так обижены, так растоптаны, что всем миром не избыть, не замолить нам этот грех.

Вадим Петрович помялся, посоображал и постучал в стенку конторы. Явилась Изабелла. Вокруг глаз ее лежали тени, еще темнее, и лампадный желтый свет едва мерцал в глубине глазниц, губы засохли, сморщились, на унылом облике девушки отстраненность или уж отрешение, лишь кокетливый сиреневый лоскут все так же красовался на ее ушастенькой голове. Изабелла остановилась возле порога и, избегая моего взгляда, вопросительно смотрела на Вадима Петровича.

– Лариса в поле. Убери со стола, и пойдем провожать гостя.

За околицей совхозного селения, заметно обнажившегося – кони примяли и выели заросли, догадался я, – Вадим Петрович разохался: уездился, дескать, с непривычки, даже спина «села», – пожал мне руку и отправился в обратный путь. Будто киношная казачка, держалась за стремя Изабелла и какое-то время шла рядом с конем, настороженно прядяющим ушами.

– Ну что, солдатик нецелованный, но весь уж израненный? Прощай! Нет, до свидания! Пригоняй еще лошадей. Пешком приходи. – Оглянулась, далеко ли ушел директор, торопливо попросила: – Наклонись! Наклонись! – И когда я свесился с седла, поймала меня за голову и поцеловала в губы спеченными до твердости угольев губами. – Я поняла: тебя никакая девушка не ждет, так я буду ждать, и, утираясь ладошкой, добавила: – Правда-правда!

Застоявшийся, хорошо накормленный и напоенный жеребец потанцевал, пофасонил и сразу пошел в намет. Изабелла тоненькой, неподвижной былинкой стояла среди сохлого бурьяна отцветшего, лохматого спутника пожарищ – кипрея, среди крапивы, полыни, лопухов. Сиреневый лоскут издали казался цветком. Я приподнялся в стремях, вскинул руку вверх и еще успел заметить, как обрадованно замахала мне в ответ девушка.

Придерживая ретивого рысака, я неторопливо ехал, покачиваясь в седле, помахивая ремненным поводком, глазел вокруг – из-за коней вчера некогда было любоваться пейзажем. Среди желтеющих и черно вспаханных полей возникали прозрачные пролески; вдаль, по холмам, свежелеленые хатки выступали из зарослей и садов, виднелись желтые, тоже свежей соломой покрытые крыши, которые я путал со скирдами, опаканными плугом. Еще не висел волглый полог тумана над полями и селениями, но все-все вокруг подчеркивало осеннюю грусть на земле. В безгололье погружалось сельское царство, отходило от военных разрывов, от горя, бед и пожаров. В небесах было просторно, прощальные голоса перелетных птиц еще не оглашали небеса, лишь воронье волнами накатывало на поля. Покой селился всюду. Тихим сном и белым снегом бредил Божий мир.

И я утих в себе. Да и что, в конце концов, случилось-то? Если произошло неладное, так не по моей вине и воле. Я слышал, такое бывает со многими переростками, в первую очередь с теми, кто характером дерган, у кого воображение паче соображения и кто хочет получить от жизни больше, чем она может дать. Вон Ермила с Кирилой не алкали сказочных чудес, не лезли к лакомой и брыкливой Любе или еще к кому, ей подобному, подсмотрели пару по своему скачку, обработали ее ко взаимному удовольствию, точно украинское родливое поле перед посевом, и укатили в родные места – жизнь налаживать, плодиться. А тут сплошные наваждения: госпитальная сестрица с закидонами, бесовская библиотекарша, и все на пути сплошь какие-то заговоренные, изуроченные, еще в молочном детстве с печи упавшие...

Жил бы парень тихо, да по люду лихо.

С полей, от недалекого уже леса наплывали сумерки, сгущая и сужая пространство. К ночи мне до Ольвии не добраться – промиловался. В полях и поза кустами чудилось какое-то движение. По мне, одинокому всаднику, по хорошей цели стреляли. «Дурак стреляет, Бог пули носит» – что-то меня последнее время в народную мудрость заносит – не к добру это. Надо останавливаться, ночевать. Я достиг того самого, в бурьяне утонувшего, селения, где побывал вчера и где, если и захотят, не вдруг меня същут вороги всякие.

В глубь селения решил я не забираться. Приподнявшись на стремях, долго озирал

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

в вечер погружающиеся окрестности – ни дымка, ни огонька, но тревога во мне не убывала, чутьем битого фронтовика я осязал скрытую опасность. Близ кую.

Крайняя хата, с чуть заметными признаками жизни, была из бедных бедная: с раскрошившимися стенами, с крышей, рухнувшей вместе со стропилами, с черной соломой, мхом и грибковой сыростью превращенной в навоз. Хата и внутри имела вид еще тот: пол не мазан, печь черна, окна забиты где чем. Поначалу мне показалось, что в хате никто не живет, но на холодной, полуразвалившейся русской печи обнаружилась старуха, которая, спустившись на свет, оказалась вовсе не старухой, а женщиной средних лет, но так же, как огород и сад за хатой, до крайности запущенной. Она дожигала сарай и изгородь, рубила, но больше ломала во дворе и в саду все, что могло гореть, и мне велела наготовить дров, сама, держась за поясницу, клохча, словно курица, мокро кашляя, пошла с чугуном – накопать картошек.

Печка с искореженным челом нехотя разгоралась. Я принес из полузавалившегося колодца воды, не чистой, гнильем засоренной, зато холодной, напоил коня и, привязав его за хатой ко кривой яблоньке, натеребил из копешки сена, задал ему на ночь, для себя бросил на пол охапку овсяной соломы, принесенной из скирды, кем-то сметанной на скошенном поле – люди все же в селе живут и маленько работают.

– Полыни нарви, а то блохи спать не дадут, – посоветовала мне хозяйка.

Засунув чугунок с картошкой в печь, она подседа к печи, сведенные простудой пальцы засовывала в самый огонь – грела. На женщине был растрескавшийся кожушок, из щелей которого торчала грязная шерсть. В свете огня, падающего из печи, пляшущего на лице женщины, гляделась она и вовсе запущенно: нечесаная, немытая, вроде как из пещеры явившаяся.

Кроме стола, шаткой скамейки, двух мятых солдатских кружек да нескольких обсохших ложек, в хате ничего не было. Даже привычная скриня в углу не стояла, не виднелось и иконок, прикинутых расшитым полотенцем, – ничегоничего не было. Ни солома, ни пыльцу сеющая полынь не заглушали застоялого избяного духа. Свинячья вонь распространялась из таза, в который ходила по нужде хозяйка и, видать, забывала его выносить.

– Надо, так выплесни, – нехотя разжала она рот. – Хлеба и соли у меня нету.

Я с отвращением выбросил таз в бурьян, распахнул дверь хаты, на грязном столе застелил угол вещмешком. Выложил хлеб, соль, говяжьих консервы – свой паек Ермила с Кирилой не съели и до половины, торопясь к своим возлюбленным. Сахарок да банку с повидлом я оставил в доме Барышниковых – для Вовки, все остальное собрался тоже оставить, но Вадим Петрович и Лариса сложили добро обратно в мой вещмешок, сказав, что они при доме, при хозяйстве, а мне солдату – предстоит путь-дорога.

При виде еды хозяйка воспрянула духом, маленько прибралась, ела торопливо, обжигаясь картофелем. Я вымыл свой котелок и вскипятил чаю, наломав в него одичавшего в саду смородинника, выбрал из сена сухие стебли мяты и зверобоя.

Хозяйка и чай пила охотно, по-ребячьи причмокивая. Согрелась. Отошла, разговорилась. В основном переселенцы из Мордовии живут, точнее, жили в этом селе с названием странным, завозным – Подустонь. Было здесь отделение совхоза «Жовтень», но в войну и сам «Жовтень», и отделение его были разграблены, разбиты, село сплошь выгорело. Мужиков-переселенцев, которые не ушли с Красной Армией, немцы заставили служить в полиции, баб – работать на свекле. Муж хозяйки и старший сын состояли полицаями, и советские каратели их расстреляли. Младших еще двое, не знает, где они, – может, на трудах, может, в тюрьме. Хату эту крайнюю грабили все кому не лень, да и грабить-то особо нечего: что велось в хозяйстве – куры, овцы, корова, швейная машинка, инвентарь, одежда, – все пропили отец с сыном еще до прихода оккупантов. Хата на отшибе, потому и не сгорела.

Совхоз «Жовтень» – ныне зовется «Победой» – привлекает к работе всех, кто может двигаться. И ей велено привлекаться, да суставы у нее болят и нутро хворое: бил ее муж и сын бил, случалось, палком бил бригадир – он при Советах начальствовал и при оккупантах старшим полицаем состоял. Немцы? Нет, немцы не били ее и не

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru
пользовали. Червоноармейцы тоже не били, но пользоваться пользовали: на отшибе
живет, кричи – до кого докричишься?

Помереть бы поскорее, отмучиться, да где-то заблудилась ее смерть.

Что-то вырвало меня из сна, подбросило с подстилки. Я схватил топор, с вечера
положенный в головах, под солому, и не сразу понял, где я и что за красный свет
ворочается в хате. То разливался он огненной волной до углов хаты, то мелькал в
квадратиках как попало застекленных рам, то проваливался в заоконье, выхватывая
из ночи ветви деревца, дрожащие на нем последние листья и несколько яблок, вроде
бы игрушечно вертящихся, сверкающих в просверках издали мелькающего огня. За
стеной хаты храпел и рвался с привязи жеребец. В проеме дальнего окна маячила
фигура хозяйки, с завыванием бросавшей кресты на грудь:

– О, Господи! Го-осподи-ы-ы-ы! Милостивец ты наш и вседержитель! Когда же эта
проклятая война кончится?

– Она уже кончилась. Не накаркивай! – обуваясь, взревел я испуганно и сердито.

– Вон, смотри! – отодвинулась от окна хозяйка.

– «Победа» горит! – ахнул я. – Совхоз горит!..

– Совхоз.

Я набросил на плечи шинель со вдетой в нее телогрейкой, которыми укрывался,
схватил вещмешок с изголовья и, на ходу его завязывая, бросился из хаты. В это
время грохнулась вовнутрь дверь вместе с деревянной заложкой и с улицы раздалась
команда:

– Назад! Всем к стене лицом!

Я бросил вещмешок на голос, отпрянул от двери, упал на пол, катнулся к топору.
Успел еще заметить, как хозяйка, трудно поднимая неразгибающиеся руки, покорно
становится к стене лицом.

Хату, хозяйку, меня, прижавшегося в углу с занесенным над головой топором в
руках, осветили пятнышком света.

– Спокойно, солдат, спокойно! – В хату ступили двое военных, держа наизготовку
автоматы. Второй военный тут же спятился, вышагнул за порог и остался в проеме
двери.

– Где же вы раньше-то были?!

– В другом месте были.

– Не поспели? – засветив лампу, выкладывал я на стол документы перед
лейтенантом, с головы до ног устряпанным грязью. – Все-то мы опаздываем, все-то у
нас делается не к месту да не к разу, – корил я военного.

– Не поспели, солдат. К сожалению, не поспели, – просматривая мои бумаги,
вздыхнул лейтенант. – Не скули. Не до тебя.

– Что там? – кивнул я на окно, хотя ответ уже знал заранее, боялся его, но
надеялся ошибиться, на чудо опять надеялся.

– Худо, солдат, худо. Совхоз, урожай – все сожжено.

– А люди? Люди-то хоть спаслись, убежали?

– Никто. Ни одна душа не спаслась. Ночь же. Все спали. Все перебиты... Директора с
семьей подперли в доме и сожгли живьем.

– И вовку?! – вскрикнул я. – И малыша?!

– И малыша.

– И девчонок?

– Фрицевских подстилок изнасиловали и тоже перебили, сколько-то увезли с собой в лес. Про запас. И лошадок твоих угнали... – возвращая документы, снова вздохнул лейтенант. – Утром мы эту падаль зажмем в лесу. Они и лошадок перебьют, и девок истребят... Совсем осатанели. Ты вот что. До рассвета никуда. Всюду наши патрули по дорогам и селяням – еще застрелят, не разобравшись в потемках. Пароль: «Прибой». Ответ: «Жасмин». Если не ответят, значит, под видом патрулей расползутся по углам оборотни лесные. Топчи их лошадю и скачи дальше. Оружие выдать, к сожалению, не можем. – И еще раз осветив хату фонариком, покрутил головой: – Ну и берлогу ты себе выбрал! – и уже с улицы крикнул мне: – Домой подавайся! Домой!

«Сидите по селам! Самогонку жрете! – хотелось заорать мне. – Потом „Жасмин“ вам! Домой скачи!» Вовка! Во-о-овоч-ка-а! – успевший сказать миру всего четыре слова, и няня, и мама его Лариса, и добрейший Вадим Петрович, так явственно напоминавшие мне защитников Белогорской крепости и разделившие горькую их участь через сотню лет... Милые мои! Мученики русские. Да когда же судьба-то будет милостива к нам? Ведь совсем недавно, вчера вечером, сидели, гутарили, мечтали о будущем – и вот... Да неужели это правда? Изабелла, бедная девчонка! Небось терзают тебя в лесу, галятся над тобой пьяные самостийщики?.. За чьи же это грехи тебе такие муки? Разве для этого предназначено было тебе родиться, выжить? Люди! Люди! Разве мало вам того моря крови, того моря слез, что мы пролили за войну?

Мимо хаты в заросшую на всполье дорогу прошел бронетранспортер, легкая самоходная пушка, несколько крытых машин с солдатами, молча курившими или дремавшими под брезентовым тентом.

Утром, еще по росе, я выехал из селения Подустань и услышал за полями, за обрезом земли, на котором исходным дымом курился совхоз, как гулко ударила раз-другой пушка и донесло издалека звуки разрастающегося боя.

Неспорым шагом ехал я по обочине дороги, сбивая росу с наклонившихся колосьев и кустов, и не чувствовал холодного мокра, глядел, как восходит солнце в той стороне, где утихала стрельба, как плавно и мирно кружится над холмами птица, орех просыпающееся жадное воронье, рассаживаясь по скирдам, как табунки щеглов и овсянок с треском, будто трассирующие пули, разлетаются во все стороны перед конем.

«Господи! – стоном стонало мое сердце. – Если ты есть, как же ты допускаешь такое? Неужто люди натворили так много худого и страшного, что ты нас уже не прощаешь; или не поспеваешь за нами, говноедками и зверями, углядеть? Но ты же вездесущ! До какого предела, до какой черты ты нас допустишь? Иль кара твоя справедливая уже свершается повсеместно? Но Вовкуто, Вовку-младенца за что, Господи-ы-ы?!»

Я два или три дня лежал в конюховке пластом. Слава Каменщиков отнес на демобилизацию мои документы в штаб части, сдал их, принес еды и бутылку водки. «От самого Котлова!» – сообщил он. Страшная весть уже достигла и Ольвии. Майор Котлов не велел меня трогать, приказал даже выдать какие-то деньги – за командировку. Работы у почтовиков не стало. Река писем иссохла, лишь вялые ручейки заносило еще в пустующий, гулкий зал сортировки. Многие письма уже ехали вдогон солдатам и офицерам, отпущенным по домам. Те письма, у которых не было обратного адреса, активировались и сгорали в костерке за зданием начальной школы. Ветер разносил огарки страниц по косогору, на тех огарках все еще жили, разговаривали с отцами, матерями, братьями и сестрами, с невестами и женами, с заочными симпатиями люди русской земли, посылали еще ответы от мертвых к живым и от живых к мертвым.

Я купил на командировочные деньги водки, пил с друзьями и без друзей, пил до бесчувствия. Убегал за Ольвию, в поля и кричал, кричал в сторону совхоза «Победа»:

– Во-о-овка! Вовочка-а! Отзовись! Покличь дядю! Беллочка! Простите нас! Простите меня-а...

Майор котлов признал белую горячку, дал приказание привязать гуляку к койке. Когда я отошел, командир и отец наш велел мне сходить в баню, после чего провел со мной личную беседу с упором на то, что война горя породила много, его ни слезами, ни вином не зальешь! Что нельзя мужику раскисать. В данной ситуации следует рукава засучить – и за дело браться. И назначил меня с реденьким уж отрядом солдат помогать восстанавливать опытную овощефруктовую семенную станцию, необходимую сельскому и народному хозяйству.

Виталья Кукин вручил мне письмо.

– От Любы, – по-старушечьи поджав рот, отчего он сделался еще ширше, сказал начальник сортировки. – От Любови Гавриловны – перед отъездом передать велели-с.

В нарядном конверте оказался лакированный квадратик, и на нем одно лишь слово: «Сер-реж-жа-а-а-а!» – ниже – циферки, которые я сперва принял за число и месяц, но то оказался номер телефона. Через Кукина мне была передана просьба: как только я вернусь с отгона, написать ей письмо, длинное-предлинное. Я, человек отзывчивый, сел во время дежурства и написал Любе письмо, с шуточками, с прибауточками, с попыткой освежить мысли слогом, в котором я так наблатьялся, переписываясь на фронте с заочницами. Вот примерный образец моего фронтового творчества.

«И дни, и ночи в небе гудят наши краснозвездные соколы, а на земле снова весна! Снова цветут сады и где-то заливаются соловьи, томимые любовным призывом. Но у нас поют пули, одни только пули и „до смерти четыре шага“, однако, не глядя на это, мы беспощадно сражаемся с врагом, стремительно идем вперед на запад и твердо помним слова прекрасной песни: „Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди“» и т. д.

Вот и подстерегла меня любовь, да еще и Гавриловна. Хи-и-итрая баба! Умеет тушить пожары без брандспойтов, умеет укрощать сердца одними смехуечками. Ну, на эти штуки и мы горазды, их у нас – что вшей в солдатских кальсонах.

Ответ не заставил себя долго ждать. Люба, тоже в непринужденном тоне, сообщала, что не так уж и страшно в миру, как казалось издали. Устраивается работать по «прежней линии» – в отделение связи. Пока. А там будет видно, может, и другое что подвернется или она по службе продвинется. Думает поступить на подготовительное отделение в библиотечный институт. И, в чувствах своих поостывши, она разобралась, поняла, что для нее я был как брат (двоюродный, – усмехнулся я). Всю жизнь ей не хватало брата, и она печалилась по нему еще до Ольвии. У метечкового фотографа выпросила она мою фотографию, с уже отросшим чубчиком. Мама сказала: «Такой еще лопухонький мальчик, напрягся перед аппаратом, прячет растерянность или изъян?!»

Ну это уж слишком! Изъян – ладно, но чтоб еще и растерянность?! Да я на переднем крае не часто впадал в растерянность, иначе б погиб.

Письмо в клочки и по ветру.

Начальник сортировки, товарищ Кукин, помогая мне избавиться от наваждения, взял меня однажды за пуговицу:

– Любовь Гавриловна – девица крученая и верченая, она может окончательно запудрить тебе мозги... – Пропагандист Виталья Кукин, чуть было не убитый на войне, впал в привычную нравоучительность. – По секрету, как земляку, – эта особа чуть было не разрушила мою семью. А я ведь и постарше тебя, и... – он покрутил рукою возле головы – и поумней, догадался я.

Письмо от Любы, дурацкий разговор с товарищем Кукиным все же задела меня за живое, заскребло ретивое, навалилась на меня теперь уж как постоянный недуг беспросветная тоска.

Мне все придется собирать заново – начинать жизнь, биографию и даже любовь. Учиться надо. Учиться, учиться и учиться, как завещал Ленин. Не обязательно грамоте, не обязательно в университете, на филфаке, на курсах каких-нибудь, профессии обучиться бы, с помощью которой возможно добывать кусок хлеба. А там

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevictor.ru
время покажет. Жизнь куда следует направит. Глядишь, и до заочного филфака доберусь...

В предзимье почтовая наша часть ликвидировалась. Последние солдаты были отправлены по домам. Майора Котлова, узнал я, послали в отставку, но тут же назначили на место погибшего директора во вновь из пепла восстающий совхоз «Победа».

Дома лежал отец с осколком в животе и с поврежденным позвоночником бывший вагонный слесарь, бывший фронтовик. Мать забрала отца из инвалидного дома и не сообщила мне о своем благородном поступке. Она уже устала от страдающего, беспомощного мужа и, само собой, обрадовалась сыну, вернувшемуся с войны, надежде русского дома, избавителю от тяжестей, от полуголодной, бесправной жизни.

А что я мог? Мне и самому надо бы ехать в областной госпиталь: рана на бедре все сочилась, гнило мясо, – но я вынужден был устраиваться на работу, и раз фамилия моя стала Слесарев, соответственно ей и определился я в слесари, нагадал когда-то в беседе с Любой свою судьбу – и вот, как в чудной сказке, все сбывалось.

Угодил я в обучение к племяннику отца, Чикиреву Антону Феофилактовичу, которого отец в свое время тоже обучил тяжелой и маркой профессии вагоноремонтника.

Антон Феофилактович был славен тем, что бревно автосцепки в сто девяносто семь килограммов поднимал и вставлял в вагонное гнездо самостоятельно, и только тогда, когда попадался вагон со старорежимной дугой автосцепки в двести с лишним килограммов, звал на помощь товарищей по работе. Ну а раз приставили к нему ученика, более он в каких-либо помощниках не нуждался. От тяжелой работы, от мазута и грязи рана моя было загноилась, но потом, с испугу – не иначе, начала засыхать, пошелушилась какое-то время желтой луковой шелухой и затянулась сморщенной бордовой пленкой. Вот что значит стахановский труд! Я и хромать-то почти перестал, на танцы похаживал в горсад, пил там с парнями и дрался в спяянной шайке железнодорожного поселка с городскими парнями, дрался, не зная, за что и почему, скорее всего, по звериному инстинкту – за самок, но дрался без лютости, ножей и кастетов не применял, видно, прыть и драчливый зуд укротила во мне война.

Когда я получил разряд слесаря среднего ремонта, теперь уже не наставник – бригадир мой, Чикирев Антон Феофилактович, подвел меня к грубо, в прогонном рубанке вытесанной рамке, крашенной вагонным суриком, которая называлась Доска почета, заявил, что не сходит с нее с начала третьей пятилетки, завсегда имеет больше всех слесарей зарплатку, из премий и прогрессивок не выходит и мечтает вставить и скоро-таки вставит золотые зубы, купит радиоприемник «Мир». Как бригадир и родич, будет он доволен и рад, коли я помещусь рядом с его фотографией и тоже оттудова никогда не сойду.

Разочарование ждало Антона Феофилактовича: случилось то самое профсоюзное собрание, когда я пролопушил, не назвал раньше себя кандидатуру на неоплачиваемую должность цехового профкомовца, и заделался я как бы шестеркой от рабочего класса, голосующей за все, за что только предложат голосовать.

Мирная жизнь набирала обороты и была отмечена небывалой активностью трудящихся масс: проходили всякие разные слеты, конференции, семинары, совещания, собрания, заседания, и везде, как неугасающий маяк, но если точнее – как огородное чучело, должен был торчать представитель от рабочего класса, стало быть, профсоюзник.

Наставник мой и бригадир Чикирев Антон Феофилактович, вечный ударник и последователь шахтера Стаханова, машиниста Кривоноса, ткачихи Краснощековой и летчицы Гризодубовой, роптал, матерился, но терпел мое частое отсутствие в бригаде, даже не настаивал, чтобы меня прогрессивки и премиальных лишали.

И потянулись день за днем, год за годом. Когда-то мать мечтала: «Нам бы только дожить, чтоб хлеба досыта». Наелись наконец и хлеба досыта. Мать простиралась в мечтах дальше: «Дожить бы, когда женишься, я бы внуков понянчила, да еще бы отца по-божески похоронить. Зажился. Устала я от него», – правда, этого мать не говорила. Но я угадывал, да и слышал, как она ночами просила Господа прибрать страдальца.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

Отец и сам вроде как хотел избавить нас от своего присутствия, но это на людях. Когда же оставался с нами наедине, сатанел, матерился, бросал в мать горшком. Две клетушки-комнатки, кухонька с плитой в стандартном деревянном доме, построенном еще в тридцатых годах, размножению не способствовали. Молодые родители когда-то и такой жилплощади радовались, но ныне – одну клетушку предназначили мне, во второй зимогорили мать с отцом, раздражались друг на друга, все чаще и громче ругались так, что мать обреталась больше на кухне.

Отец отмучился в пятидесятых годах. Слабая здоровьем, забитая жизнью, мать, комкая платочек, сказала: «Вот, Сережа, и жилплощадь ослобонилась, можно теперь жену приводить. Дверь в перегородке прорубите, ширше квартера сделается, а я при вас, я на кухоньке, я не помешаю. Мне было только внуков по головке погладить...»

И я уважил мать, женился; повторяя и дальше путь отца, выбрал малярку из вагонного депо, по имени Даша. Мать опасалась, что я приведу в дом грамотейку, потому как считала меня шибко начитанным и, раз я – профсоюзный деятель, речистым. В войну все грязные и сподручные работы в депо выполняли девчонки, кто из ФЗУ, кто по найму. Дарья моя тут хлеб свой первый добыла, тут выросла, тут и состарится. Обыкновенная русская баба, в меру ревнивая и бранчливая, в меру экономная и обходная, годная, если нужда заставит, работать день и ночь на свой дом и семью.

Родились дети, девочка и мальчик – больше-то нам не потянуть с нашим слесарско-малярским прибытком. Всех остальных детей Дарья снесла на помойку, сперва тайком на поселковую, а после разрешения абортосбросали их в больничное емкое корыто советской медицины.

Мать души в Дарье не чаяла, до гроба была для нее и для внучат добровольной, покорной рабой.

К этой поре успокоилась и моя память. Переписка с военными друзьями сошла до поздравительных открыток к праздникам. Однажды на открытке-развороте с красным знаменем и красными гвоздиками бывший майор котлов известил торжественно, что среди нового поселка совхоза «Победа» трудящиеся возвели обелиск и на нем поименно перечислили всех героически погибших тружеников первого послевоенного призыва, только девчонок не перечислили, означили их в конце списка «и др.», потому как справки, им выданные при возвращении из Германии, посланные в область – для уточнения сведений и дальнейшего оформления гражданских документов, – где-то с концом затерялись, вспомнить же и подтвердить имена погибших молодых тружениц некому.

Дольше других велась у меня переписка с Тамарой, которая каждое письмо начинала бодрыми словами: «Привет из Молдавии!» Со Славой Каменчиковым изредка перебрасываемся письмами и по сю пору. Слава заламывал жизнь пожалуй что тяжелее нас всех: поднимал братьев и сестер, лечил мать и все время вкалывал на земляных и бетонных (дорогих!) работах, чтоб заработку хватало на пропитание. Он так и не женился из-за семьи, но мечту о филфаке не оставлял и поступил в Пермский университет, где, между прочим, вместе с ним в аспирантуре набиралась ума Соня, только уже не Некрасова, а Потапова. Лейтенанта своего Соня с фронта дождалась, оба закончили университет, оба в нем и работают – преподают. Растят они девочку, иногда, редко правда, почтовые однополчане встречаются, калякают о прошлом, надеются на будущее, не обязательно светлое, но хотя бы мирное.

Шли годы. Никаких «бурь и порывов мятежных» в моей жизни не происходило. Утром вместе с женой топали мы на работу, о чем-то говорили, чаще молчали. В депо разбегались; я оставался возле ворот, где начиналась раскатка «больных» вагонов. Это значит, матерясь и кашляя, смурные со сна и после пьянки ремонтники, объединенные в бригады, облепив вагон, натужно катили его туда, где определено ему стоять и ремонтироваться.

Чикиреву Антону Феофилактовичу раздавило хрящи меж позвоночником и тазом, но он по-прежнему норовил быть передовиком социалистического соревнования и однажды уронил автосцепку себе на ногу. Долго, чуть не полгода, лечился. Будучи в больнице, свету и отдыха никогда не выдавший бригадир мой огляделся: вокруг люди разные ходят, даже женщины в белом попадают. Как-то разговорился с одной молодой сиделкой в ночное время, улестил ее. Понравилось. Долго он потом, под видом перевязки, хаживал в старый барак иль водил свою зазнову в лес, по грибы. Инвалидность ему не дали, хотя и оттяпало ударнику половину лапы, лишь перевели

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

на более легкий труд – на текущий ремонт, под крышу. И я за ним туда же: устал, иззяб я на холоду, возле железа.

Но доконали и меня дальний мой родич, Чикирев Антон Феофилактович, и Слава, мой далекий друг, своими жизненными примерами. Я засел за учебники и сперва заочно, затем отучился два года на очном отделении, в железнодорожном институте, получил звание инженера и стал работать сменным мастером в родном депо. Впереди маячила вершина моей карьеры – начальник цеха текущего ремонта вагонов. С молодых-ранних лет запрофсоюзив, я так с профсоюзной линии и не сходил. Это давало мне возможность сблизиться с элитой вагонного депо, присутствовать на разных слетах, собраниях, совещаниях, организовывать спортивные мероприятия.

Ставши инженером, в чистое одетый, часто и при галстуке, я попадал на лекции и селекторные совещания в отделении дороги, где открыл, что более чванливого и спесивого народа, чем железнодорожное начальство, нет на всем белом свете. И это закономерно – железнодорожники забалованы с царских времен: машинист паровоза – фигура, а уж инженер-путеец – вельможа. Вот и я маленьким вельможей заделался. Я был избавлен от многих омрачающих жизнь обстоятельств, хотя бы от получения зарплаты в толпе грязных слесарей, кузнецов, плотников, литейщиков, маляров, в узком и душном коридоре толкающихся возле деревянной бойницы, в которую совали ведомость для росписи и деньги в горсть. Редкая получка тут обходилась без мордобоя. Когда были построены душевые, я ходил уже в отдельную кабину, где всегда велась горячая вода, даже мыльце розовело в отдельной раковинке, тогда как чумазы, усталые работяги, намылившись, не раз били железом в батареи – требовали горячей воды и справедливости. Иногда, так и не достучавшись ни до кого, смывали работяги грязь холодной водой и, стуча зубами, расходились по домам. Я куда-то писал, хлопотал и в конце концов добился, чтобы душ в депо не только у начальства, но и у работяг действовал нормально.

Все шло тихо-мирно, и вдруг мой бывший бригадир, Чикирев Антон Феофилактович, отмолил номер! До того он окрылился любовью, что неожиданно для всех сделал изобретение: клеткой выложил старые шпалы, и поскольку не мог уже поднять с земли автосцепку, сперва взнимал ее и всякое грузное железо, которого на вагоне, особенно четырехосном, много, на клетку, с клетки уж плавно, как не знаю что, вводил хобот автосцепки в разверстную железную дыру. Такое ловкое начинание подхватили все слесари нашего депо, о нем писала газета «Сталинская путевка». Я вместе с техническим отделом оформил изобретение своего бывшего начальника документально. Антону Феофилактовичу вырешили премию в размере среднемесячного оклада-заработка. А он возьми да ту премию и утай. Не на пропой, нет. Он брошку с дорогим уральским камнемсамоцветом купил и отнес ее своей шмаре, да у нее навсегда и остался.

Карточку вечного передовика соцсоревнования с Доски почета скovyрнули, и долго на ней зияла квадратная дыра. Так как в партии Чикирев не состоял из-за раскулаченных вятских родственников, его прорабатывали на общем профсоюзном собрании, срамили, стыдили, особенно ярились труженицы депо. Антон Феофилактович Чикирев от бабьих речей краснел и потел, мужикам же прямо в лоб закатал: «Сами-то в голове блудите, духу мало потому что, а меня любоф постигла. Я, ежели хотите знать, зубы пастой чистить начал, нашот табаку и вина воздерживаюсь. Увольнять?! Дак увольняйте! Я хочь в огонь, хочь в само пламя»...

Э-э-эх, как кипело вагонное депо! Какие страсти раздирали его здоровый коллектив на части! И моя Дарья сбесилась, давай следить за мной: Чикирев родственник, хоть и дальний. А что, если его разлагающий пример заразителен? Чуюло сердце вещуны но, что беда иль напасть караулят ее, но за каким углом – угадать не могла.

Да не за углом, не за поворотом – в столице нашей Родины, самом блудливом городе страны, чуть не сгорела наша семья.

Поехал я в столицу делегатом на профсоюзный съезд, тот самый, где один выдающийся подхалим увековечил себя тем, что назвал главного профсоюзника и кукурузника так, как никому еще и никогда никакого вождя назвать не удавалось: «Дорогой товарищ Никита, дорогой товарищ Сергеевич, дорогой товарищ Хрущев!» – сказал и будто спелую грушу с дерева снял – в виде Золотой Звезды!

Уставши от аплодисментов и пустопорожней болтовни, принялся я развлекаться – ходил в театры, на концерты, и не только по пригласительным билетам съезда, но и

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

на свои денежки. Однако мало мне было этих развлечений. Я забрел в большой собор – на службу. Пели в том соборе народные артисты, и так пели, что меня потянуло к чему-то уж и не святому, хоть бы к светлому, душу очищающему. Я испытывал беспокойство, и память моя нашептала мне подходящее для покаяния место. Тот телефон я запомнил наизусть еще в сорок пятом году – о, незабвенные дни, промелькнувшие в благостном местечке Ольвия! Мужская притчеватая душа помнила о тайности. Она, душа моя, ждала убоготворения и в то же время пужалась его. Сердце мое скользило обмылком в груди, рука, сжимавшая телефонную трубку, запотела – я бы уж и рад был, если б телефон не ответил, но из запердельности лет, из ветхозаветной тайности, не иначе, раздался голос Любы:

– Слушаю вас!

Во мне все, даже дыхание, заклинилось. Я не мог сказать слова, дыхнуть не мог – нечем дыхнуть мне.

– Слушаю вас! – повторили нетерпеливо.

– Ой, Люба! Постой! погоди! – вместе с пробудившимся дыханием вдруг возник и голос, правда, не мой, какой-то чужой, с хрипом и сипом. – Пожалста! – почему-то с кавказским акцентом попросил я.

– Это не Люба, – сказали мне сдержанно, – это ее мать. А вы кто?

Следующим утром я не пошел на съезд. Я пешком топал из гостиницы «Россия» на улицу Неглинную, в гости к Любиной матери. «Вам обязательно надо побывать у меня! – сказала она вчера и, вздохнув, добавила: – А Любы нет, давно уже нет».

Я оказался в старой, запущенной квартире, тут все пронизано было запахом тления и книжной пыли. Трубы в наростах ржавчины, выступавшей из-под толстого слоя краски, по-змеиную опасно шипели по всем углам, в туалете отдаленно рокотала вода. Просторная квартира, заставленная стеллажами с книгами, какимито этажерками, вешалками, массивными шкапами, столами; на стенах фотографии в резных деревянных рамках; несколько старых картин. В гостиной – письменный стол с потускневшей бронзовой инкрустацией и потускневшие же подсвечники, витые из меди и серебра, подставки, светильники, мраморная пепельница и мраморная же фигурка греческого дискометателя. И много цветов. На столе, на подоконниках, на этажерках. Цветы ухожены, защипаны, политы, цвели радостно и благодарно. В горшках, подвешенных на шнурках, вьющиеся растения опускались кистями до пола.

– Вы, Сережа, осваивайтесь тут, фотографии смотрите – в этой древней кладовке много занимательного, есть кое-что и любопытное. А я стряпней займусь. Я вас скоро не отпущу, до тех пор не отпущу, пока не наговорюсь.

Наталья Дмитриевна похожа на дочь и в то же время отдалена от нее, как бы недопроявлена. Все, что в Любе цвело, румянилось, рвалось наружу, в пожилой женщине было уже успокоено, если не усыплено. Сотворенные как бы из одного металла, струганы были эти люди разными инструментами. Обширная в кости Наталья Дмитриевна как бы сплющилась телом. Она перехватила мой взгляд и тут же с маху отгадала, о чем я думаю:

– Я, как и многие певицы, дородна была, да вот убыла... – Ямочки на ее щеках цвели, раздвигая морщинки, делали лицо приветливым.

Я с пристальным вниманием и неразумным любопытством провинциала рассматривал в гостиной картины, фотографии, книги, благоговей перед святой стариной, даже руки убрал за спину, чтоб нечаянно чего не тронуть, и вдруг замер, увидев портрет Сергея Яковлевича Лемешева, еще того, молоденького и звонкого, времен фильма «Музыкальная история». По углу фотографии размашисто, но разборчиво написано: «Натуся! Какое счастье петь на сцене этого великого театра! Большой театр, 20 ноября 1940 года».

«Господи! Куда я попал-то!» – В жар меня бросило, восторгом кожу на спине скорбило. Дыхание придержав, я заглянул в следующую комнату. Там, в переднем углу, под иконостасом, сверкающим золотом и серебром, горела тихая лампада, и я, как всегда при виде икон и негасимого огня, притих в себе. Среди комнаты стоял рояль, на рояле – фотокарточка, по уголку затянутая черным крепом. Непривычно

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevvictor.ru

кроткая, застенчиво улыбающаяся девушка в темном платье с кружевным воротничком глядела на меня, и в этой девушке я едва узнал Любу. Может, оттого, что видел ее только в военной форме.

– Первая и последняя гражданская фотография Любы, – сказала неслышно вошедшая в комнату Наталья Дмитриевна. Ни обычного простолюдного всхлипа, ни враз возникшей слезы, рукой или платочком вытираемой, лишь бездна скрытого страдания в голосе.

Моя мать, слезой-то облегчаясь, обсказала бы, что и как было, как мучился человек, как она терпелива, бережна была к нему, как Бога молила избавить страдальца от болей, а ее от горестей – и услышал милостивец ее тихую молитву, прибрал сиротинку, взнял на небо душу его, косточки же в земелюшке остались – чтоб оплакивали, не забывали любезного друга своего богоданная жена и родной сын.

Тут ни стоны, ни вздохи. Интеллигенция! Все же простолюдинам легче живется на этом сером свете, из горя да бед сотканном.

– Что ж случилось-то? – не выдержал я.

– Ямщик, не гони лошадей, – пропела Любиным, все еще густым и низким голосом Наталья Дмитриевна и, подхватив меня под руку, повела в прихожую, молча кивнула на туалет и ванную. В туалете унитаза был в середине зачищен серебряной пластинкой, мне показалось – расплюснутым портсигаром. В ванной раковина склеена сикось-накось, зато вешалок, полотенец и тряпич на стенах не перечесать. Возле зеркала на подставке – флаконы с духами, пенальчик с кисточками, щеточки, пилочки, дорогая, подсыхающая косметика, бижутерия и разные женские штуквинки; когда-то трудилась в доме домработница, скорее всего из бедных родственниц. Без нее у знатной певицы все, кроме цветов и кухни, пришло в запустение.

Кухня, видать, была самым жилым, душу успокаивающим местом, потому что здесь, словно в цирке, радостно и пестро: деревянные квадратики-подставки, прихватки, симпатичная кукла на чайник-заварник, медный до яркости начищенный самовар, горшки, колотушки, сковородники, связки луковиц и красных перцев и множество разных забавных безделушек. И цветы, цветы...

В зеленых куцах я едва различил деревянную иконку, треснутую повдоль.

Стол был заставлен по давней российской хлебосольности мясными закусками, рыбой, соленьями, моченьями, кувшинами с напитками, бутылками иностранными и русскими. Наталья Дмитриевна, прежде чем сесть, перекрестилась на иконку, пошептала молитву, искоса глянув на меня, как бы сказала: «Лоб-то перекрестить рука отвалится?» Мать еще и добавила бы, если не в настроении: «Он, Он ведь. Творец наш, подарил тебе жисть, два раза...»

– Н-ну, – потирая руки и поигрывая заискрившимися глазами, молвила хозяйка, осветившись ямочками на щеках. – Я не пьяница, я – москворецкая хлебосолка. Как, смею думать, вы заметили по фото – работала я в Большом театре. А в Большом и пьют, и пьют по-большому. – Наталья Дмитриевна наговаривала и разливала водку и напитки. – По обычаю старорусскому помянем близких, – опустив глаза, вымолвила она и с неподдельным изяществом выпила рюмку до дна. – А-ах! – выдохнула она. – Погубительница ты наша! – и, проморгавшись, налила по новой из квадратной хрустальной бутылки. – Теперь за Вас, гость мой нечаянный!

После обеда расположились мы с Натальей Дмитриевной за журнальным столиком в средней комнате. Никаких магнитофонов и проигрывателей, никаких пластинок, ни лент – ни в кухне, ни здесь я не заметил, даже радио выключено.

– Ну что ж, Сережа, слушайте – за тем ведь и пришли. История семьи нашей, как и многих русских семей, и затейлива, и горька. Муж мой, Гавриил Панкратыч Шарахневич, родом из Белоруссии. Объемный, крепкий добряк, он и инструментом владел объемным – играл в оркестре нашего театра на контрабасе. На гастролях, еще будучи студентом Московской консерватории, в знойном Черноморье, поднял он однажды меня вроде бы шуточно в воздух и, тут же опустив на бережок, подмял всерьез, за тот подвиг я его потом всю дорогу подминала по-бабьи весело и беззаботно. После консерватории я попела в хоре, в массовках поучаствовала, арию пажа «Сеньор, извольте одеваться» исполняла, затем поучаствовала в конкурсе Большого, и, представьте себе, не без успеха. Дочку мы с Гаврилой сотворили

сдуру, еще будучи стажерами театра, сотворили мимоходом, играючи. Наши полубеспризорные театральные дети большей частью росли за кулисами в театре. Отец безмерно любил и баловал Любу, но в годы всеобщего затмения, когда дочка была еще школьницей, забрали моего Гаврилу... по национальному признаку: фамилия еврейская, говорит – белорус, имя русское, а начальник у него дирижер, да еще и по фамилии Гаук. Я думаю, под дирижера или под руководство театра и рыли яму – зачем им сдался контрабас Гаврила. В шутку я называла его «бандурист Гаврила». Был силен и упрям, поклеп делать не хотел, на допросах, догадываюсь я, вел себя «неправильно». Может, кому по мужицкой простоте и по морде дал, его и затоптали сапогами, или живьем изжарили. Нянька – двоюродная сестра мужа – сбежала обратно в деревню. Девчушка наша околачивалась где попадая. Летом, на время гастролей. Любу отправляли в лагерь, в пионерский, подросла – в юношеский. Меня не тронули и дочь мою не водворили в спецлагерь, думаю, из особого почтения вождей к нашему театру.

В поле да на воле подмосковных лесов возрастало, набиралось мудрости наше дитя. Мама пела, резвилась, романы крутила – чего уж там! На войне, среди девчонок из крестьянских и рабочих семей, чадо мое, конечно же, выделялось умственностью и нахватаанностью от культуры, точнее, от культурных коридоров, от захлавленного закулисья. В части была она постоянно в центре внимания, явилась, голубушка, из дружного коллектива в столицу – никого кругом и мама почти чужая, даже и к ней надо привыкать. А прилаживаться – то она не приучена. Надо, чтоб к ней прилаживались, – это да, это пожалуйста! И ничегошеньки за душой: ни образования, ни профессии, ни настоящей культуры, ни умения ладить с людьми. Сырой человек, но с претензиями ко всем людям, ко всему миру. Шибко ругались мы с нею на первых порах, прости меня, Господи! Начала она и от меня отдаляться, не успевши привязаться. Поступила на почту,дохнула почтарского, привычного, воздуха, ожила, записалась в хор работников связи – хор не с миру по соломке, почти академический. И жить бы тихо, да, как говорится, от людей лихо. Мужики ж треклятые вьются вокруг – меду им хочется. Кстати, благодарите Бога, что вас она не запутала, позавлекала – и оставила. Норов! Норов мой, фактура папина. Встречались мужики и достойного уровня, на все готовые ради такой крали, но... у крали – то будущее украли. Я уж спустя много времени узнала о ее в боевом походе совершенном подвиге. Это угнетало ее. Постоянно, неотступно. И почту, и хор она бросила – прискучили. Перешла в органы, пригревшие ее еще на войне, – вес-селяя работка. Мрачнела. Возлюбила одиночество.

Вдруг загуляла! Да как загуляла! Будто с возу упала. Ночами где-то шлялась. Появились у нее деньги. Попивать стала. К пьяной – то к ней и прилепись военный, опять же из органов, по роже – вурдалак, по натуре насильник. У него на холостяцкой квартире она и кончила себя. Застрелилась.

Наталья Дмитриевна рассказывала и все наливала да наливала в рюмки. Закончив повествование, ослабела, свернулась на диване, натягивая на себя плед, бормотала:

– Я счас, Сереженька, счас, подремлю минуту, и мы еще... мы еще погударим... Не уходите, пожалуйста. Не уходите!

Спала Наталья Дмитриевна долго и тяжело. Проснулась уже в сумерках, вскрикнула: «Кто здесь?» – вспомнила, ссохшимся голосом проговорила:

– Больше эту окаянную водку пить не будем. Наладим чаек. Ча-ае-ок. Вы на меня не сердитесь? – заглядывала она виновато снизу вверх.

– Да что вы, Наталья Дмитриевна?! Что вы? – Я обнял ее осторожно, поцеловал в голову. Она приникла ко мне, обхватила слабыми, вздрагивающими руками, и я вдруг, сминая слова, торопясь, рассказал ей о совхозе «Победа», о встрече с Беллой, которую я оставил среди дороги, о том, как страшно все погибли...

– Ни следочка, ни памяти! – плакал я, и теперь уж Наталья Дмитриевна утешала меня:

– Ах, Сереженька, Сереженька! Мальчик ты мой, мальчик!.. Чего же это мы, люди русские, такие неприкаянные, такие спозаброшенные... За что судьба так немилостива к нам? У вас есть дети? Я все болтала, болтала, соскучившись по собеседнику, и не спросила вас ни о чем. Простите меня. Любите их, детей – то, жалеите. Может, хоть они не повторят судьбу нашу, может, милосердной будет время к ним.

Астафьев Виктор Петрович Обертон astafevictor.ru

Поздним вечером, перед уходом, я спросил: – Что такое обертон, Наталья Дмитриевна?

Она не глядя, через плечо, сунула руку в стеллаж, вынула из толщи книг том энциклопедии с отгоревшим золотом на корочке и корешке, полистала и прочла; «Обертон – ряд дополнительных тонов, возникающих при звучании основного тона, придающих звуку особый оттенок или тембр...»

Наталья Дмитриевна, человек проницательный, деликатный, не спросила, зачем мне это знать.

Я заторопился в гостиницу «Россия», собрал вещишки и первым же самолетом улетел домой, не дождавшись конца профсоюзного съезда и попустившись банкетом – главным событием любого российского общественного мероприятия.

Овсянки – Красноярск, 1995 – 1996

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!